

СЕРГЕЙ САРТАКОВ

ГОРНЫЙ ВЕТЕР



ДЕТГИЗ · 1960

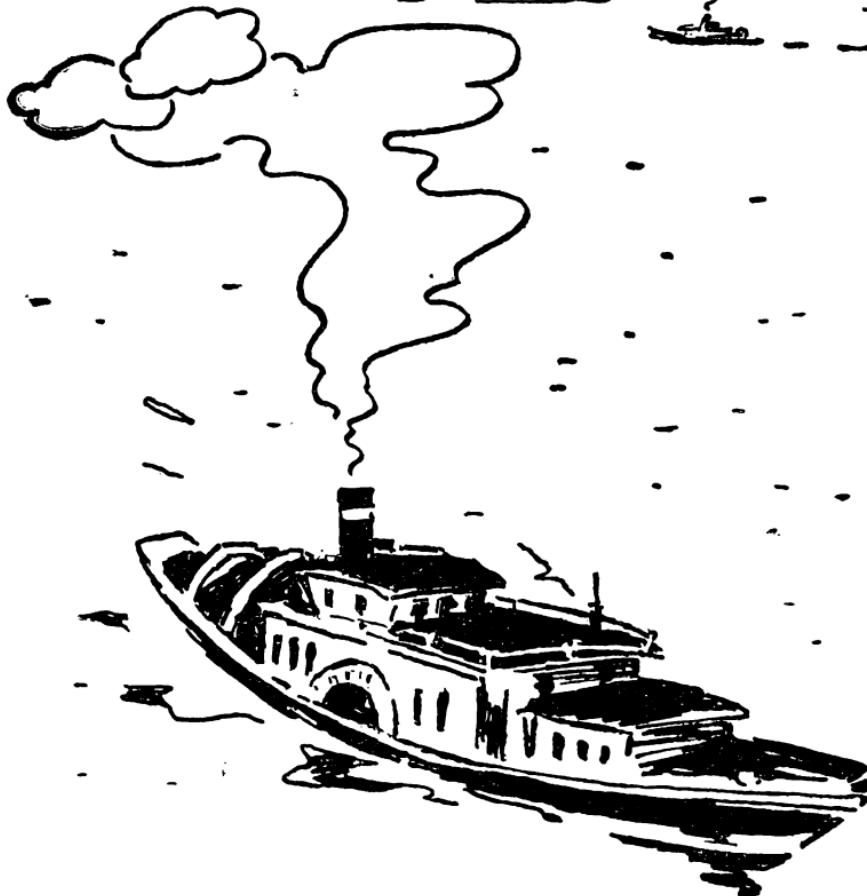


ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

СЕРГЕЙ
САРТАКОВ



ГОРНЫЙ ВЕТЕР



Государственное Издательство Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР
Москва 1960

Эту книгу я взялся писать не потому, что я писатель. Я — матрос с речного парохода, Костя Барбин. Но получилось так, что не мог с собой справиться. Даже стихами сперва попробовал. Да это, пожалуй, и с каждым из вас бывало — такое состояние. Видите, дело в том... Хотя — нет! Если я сразу расскажу, в чем дело, то и книги никакой не будет.

Не знаю, как другим, а мне было очень трудно начать. В хороших книгах главный герой непременно откуда-нибудь приезжает и, как новая метла, сразу начинает чисто мести. В этой книге главный герой я, но я ниоткуда не приехал. Все девятнадцать лет своей жизни прожил на одном месте, если не считать, что все эти девятнадцать лет, каждую навигацию, я плавал по реке. И мести мне, кроме палубы, пока ничего не приходилось. А книгу написать хочется. И выходит, что придется писать мне ее так, словно без бакенов по незнакомой реке плыть. Ну да ничего — надо, так поплыvешь...



Глава первая.

НЕМНОГО О СЕБЕ

меня большие и очень сильные руки, и, когда я здороваюсь, Маша всегда вскрикивает. Она тоже сильная, но я верю, что ей бывает больно, хотя и не настолько, чтобы кричать.

А этим она определенно хочет показать, какой я медведь. Я это знаю и на это не обижаюсь. У нас в кабинете управления порта работает Тоня, машинистка. Печатает она страшно быстро, пальцы у нее так и мелькают. Смотришь, она ими словно и машинки не касается, а только показывает, какой букве нужно на бумаге выскочить. С утра Тоня бывает удивительно веселая и ласковая, а к вечеру — лучше не подходи, такая злюка. Я понимаю: устает. Ее работа тоже трудная. Но все это я только к тому говорю, что, если бы меня самого, к примеру, посадить за машинку, я бы враз на ней разбил вдребезги все

клавиши. И это не от неумения моего. Просто не сдержать бы мне всю силу рук своих. Попробуйте якорной лебедкой нитки на клубок наматывать!

Говорят, что при моем характере мне только и быть речником. Не возражаю. Не понимаю и не люблю я такую жизнь, где каждый день на день похож, а ночь на ночь. Год пройдет — только и разницы, что календарь новый купишь. А на реке ничто и никогда не повторяется. И сама река тоже каждый час особенная. Но это понять может не всякий — это, как мне, надо самому все время видеть.

Учился я в школе до шестнадцати лет. Семь классов окончил. Зимой учился, а летом вместе с младшим братишкой Ленькой и с матерью на пароходе плавал.

Про Леньку большой разговор я вести не намерен. В книге он не герой. О нем — только по необходимости. Брат. Когда я семилетку кончал, Ленька еще в первый класс собирался. Выходит, и не ребенок, и не парень, а, как в моде теперь говорить, пацан. Хотя, между прочим, в тарелку ему наравне со мной мать наливалася, а штанов я двое, он же — четверо за год изнашивал. Такой выюн. Все время на улице. Не то — в постели, больной. Чем он только не переболел: и корью, и скарлатиной, и коклюшем, и свинкой. Даже желтуху умудрился подцепить!

Мать поварихой на пароходе служила. Любила эту работу, но тяжела она была для нее — все время толкись на ногах возле горячей плиты, а здоровье плохое. Зато и старалась она, чтобы хоть я такой хилый не вышел. Иногда утром подольше спать хочется, а мать поднимет и заставит физкультурой заниматься. Гимнастикой, гири поднимать, холодной водой обтираться. И круглый год не дает передышки. А потом привык: не только водой — снегом зимой обтирался. Вот и затвердели мускулы. За это спасибо матери говорю. И еще спасибо за то, что на реке меня вырастила. Мне без реки теперь и реке без меня — быть невозможно. Да, к слову, еще такой, как наша. По складам скажи: «Е-ни-сей». Музыка! Эвенки по-своему зовут, еще красивее: «Иоанесси». На русский язык перевести — «большая вода». Этого я сам не знал — Маша сказала. Она до таких вещей охотница. И вообще

она прямо все знает. О чём с ней ни заговори. От неё набрался я и слов замысловатых, вроде: «рефлексы», «инициатива», «психология» и всякая другая штука. У Маши они всегда к месту. Что такие слова обозначают, я тоже хорошо понимаю. Но, когда говорить или писать начнешь, гляди, и влепишь что-нибудь такое совсем невпопад. Так разве этого и с вами не бывает? Каждому выглядеть поученее хочется.

Отца у меня на фронте убили. На второй год войны. Я с матерью в плавании, в рейсе был. Вернулись домой, а на столе пакет из военкомата... Пошёл я сразу записываться в добровольцы. Отказали. В десять лет, сказали, рано. Тогда я зайцем в поезд сел и самостоятельно на фронт поехал. В Омске милиция с поезда сняла. Ничего в расчёт не приняли, никаких моих доводов. Думал, мать за побег рассердится. Нет, простила. «Правильно, — сказала, — ты решил врагу за отца отомстить. Только зачем же тайком из дома, от матери ушёл? Или я тебе плохая советчица?» И долго потом мне было стыдно.

И второй раз из-за этой истории мне совестно было: это когда в седьмом классе в комсомол меня принимали. Не рассказать — совесть не позволяла. А стал рассказывать да все начистоту, как от милиционера под лавкой прятался и как он меня за пятку вытащил, — смех поднялся. Может, и не в осуждение поступка моего, а просто потому что, и правда, смешно было. Только для меня всякий смех, когда надо мной, — кипяток. А если к тому девушки надо мной смеются — даже на сердце жжет...

Плавать я хорошо умею. Должно быть, потому, что сила в руках у меня большая. Хоть три часа подряд «по саженке» буду отмахивать и не устану. Чем дольше плыву, тем больше плыть хочется. Одно худо: вода в Енисее холодная; если ближе к осени, помокнешь в реке лишний час, гляди, и судорогой ноги может схватить. Далеко от берега такая вещь случится — не знаю, как выходить из положения.

Вообще я спортом люблю заниматься. Бегаю на лыжах здорово, на коньках — чуть не чемпион города. А буду и чемпионом. На слете молодых физкультурников об этом

с трибуны заявил. Маша мне вечером в тот день сказала: «Костя, ты очень нехорошо выступил». Я спросил: «Не веришь, что добьюсь своего?» А Маша снова: «Ты очень нехорошо выступил. Подумай». Подумать я подумал, только, правду сказать, не о том, как я выступил, а о том, как мне все-таки стать чемпионом.

Пробовал я разобраться, что мне больше нравится: театр или кино. И получается: кино. А Маша говорит: «Театр — это тоже красиво». Может, не совсем такими словами — у нее к словам или взамен слов и глаза говорят, и улыбка, и рука обязательно движение сделает, — но суть в том, что театр она любит. А по мне, кино полностью его заменяет, и даже больше. Особенно, если цветная картина. В театре так не разыграть, как в кино — нет того простору. На сцену никогда столько людей не выпустишь. И декорации, как их ни рисуй, все равно чувствуешь — тряпка висит. А в кино, скажем, река — как живая плещется! Лес показывают, так в нем и трава растет, и цветы цветут, и птички порхают. Если дом — тоже настоящие. Не как в театре: дверью хлопнет артист — и вся стена от движения воздуха зашатается. Я, конечно, понимаю насчет условности, но что хочешь делай со мной, а когда так вот в театре стена пузырем заиграет, меня смех берет, какие бы в это время грустные слова ни говорили на сцене. Против воли изнутри тебя смех взорвет. И все настроение пропало. А в кино этого со мной не бывает.

На концерты ходить люблю. Здесь никаких тебе тряпочных декораций. Все настоящее. И, если выйдет артист бородатый, знаешь — своя у него борода. Песни очень люблю, хотя у самого голоса нет никакого. В хоре, понятно, я спеть могу, но там и всякий споет: двадцать или тридцать человек всегда одного заглушат, если он с тона съется.

У Маши голос очень хороший, красивый, нежный. Вот она бы петь могла в каком угодно концерте, а почему не хочет — этого я не понимаю. Она говорит: «Голос комнатный». Я слушал хор Пятницкого, был он у нас на гастролях. Не скажу, что плохо. Как запоют русскую народную песню, могучую да с разливом, словно на крыльях тебя понесет. Богатырем себя чувствуешь! Но заметь-

те, себя все-таки тоже все время чувствуешь — ты тут. А Маша запоет — и ровно ты сам исчез куда, и только одно твое сердце осталось.

Песни на меня действуют как погода: есть песня-дождь, есть песня-солнце, есть песня-буря...

Но коли про погоду я помянул, должен сразу сказать: по мне самая лучшая погода та, которую замечаешь. Если дождь — так чтобы лил как из ведра и на улицах пузыри бы пенились; мороз — так чтобы стекла в окнах трещали, а щеки Маши, как перышки окуневые бы краснели; ветер — так чтобы задирал двухметровый вал по-перек всего Енисея, а осенью еще и со снежной крупой, этакими колючими иголками прямо в лицо.

Ну вот, пока о себе хватит. Теперь должен я вам рассказать... Впрочем, к этому и так все подойдет.

Глава вторая

САМАЯ БОЛЬШАЯ

Она для меня большая потому, что в ней свою биографию до девятнадцати лет описать я должен. Одну главу на это — и кончено. Все остальное будет уже о девятнадцатилетнем. Я бы эту главу, пожалуй, и вообще не стал писать — хочется скорей взять быка за рога, но оттуда, из тех лет, тоже кой-какие тропочки ко всей книге тянутся. Вот в чем суть.

В шестнадцать лет я закончил седьмой класс (два года просидел в шестом). Из-за лени, конечно. Сдал экзамены не так, чтобы блестяще, но все-таки ничего. Мог пойти и в восьмой класс и рассчитывать на речной техникум. Маша, например, после седьмого класса в речной техникум поступила. На ура ее приняли. Правда, у Маши даже ни одной четверки не было. Круглая отличница.

Должен вам, между прочим, сказать: девчонок я не любил уже с первого класса. Ну, да их и все-то маль-

чишки всегда ненавидят. Но Маше, когда ее приняли в техникум, я почему-то нисколько не позавидовал и не обозлился на нее, даже подумал: «Этой хотя бы сразу и в институт».

За сердце задело только одно: Маша на год моложе меня, а седьмой класс тоже на год раньше меня окончила. Понимаете? — мужское самолюбие...

Так вот. В эту весну, когда я семилетку закончил, мать у меня тяжело заболела. Паралич ей ноги разбил. И сразу все мои расчеты рухнули. Представляете положение: Леньке восьмой год, мать обезножила, да деду — отцу матери — в Енисейск надо хоть сколько-нибудь посыпать. Тоже инвалид.

Короче говоря, поступил я на работу. Устроиться мне помог Степан Петрович Терсков. Машин отец. Диспетчер. Не обошлось тогда без крепкого спора. Забыл я вам сказать, что отец мой работал водоливом на барже. А другой дед — отцов отец — кочегарил на первых пароходах. Еще у купца Гадалова. Прадед — на лямках против течения по Ангаре илимки с грузом поднимал, а прапрадед гонял плоты. Понятно, и мне дорога только в плавсостав. А Степан Петрович говорит: «Нет, на берегу тебе работать придется. Как же ты уплывешь от большой матери и от малого брата? Договорился я — в речной порт тебя возьмут таксировщиком». Будто меж лопаток, под кожу, шприц мне воткнул. Вам тоже, наверно, прививки против дифтерита делали, — знаете. Это меняято, Костю Барбина, в контору! Ну, спорили-спорили, а сошлись на том, что пойду я в матросы на пароход «Лермонтов», который из города в Затон, на правый берег Енисея, пассажиров перевозит. Так сказать, на «корабль ближнего плавания». И при доме буду, и не береговик все же, а плавсостав.

Квартиры с Терсковыми у нас в одном доме. На втором этаже. И двери с одной лестничной площадки. Только у Терсковых дверь снаружи дерматином обита, будто в кабинете у начальника пароходства, а у нас — обыкновенная дверь. Почему? Во-первых, дерматин большого тепла не дает, во-вторых, изнутри квартиры красоты его не видно. Вообще у нас все не затейливое. А к Терсковым зайдешь — у них половики, коврики,

накидки всякие, занавески, сплошное рукоделье. Ясно: две женщины и один мужчина. А у нас как раз наоборот.

Дом на самом берегу Енисея. Водопровод и все прочее. Только парового отопления нет. Да это и лучше — воздух легче. И какой тебе надо климат, такой и сделаешь. Для матери с Ленькой Африку, а в своей комнате — Антарктиду. Полярные медведи насморком никогда не болеют. А у Терскиховых Ольга Николаевна — это мать Маши — зимой обязательно по градуснику температуру выверяет, чтобы держалась не ниже двадцати. Ну, летом, конечно, сколько выйдет. Хотя и тут есть ограничения. Вентилятор. Сам Степан Петрович очень большой любитель электричества. Он его любую работу выполнять заставляет. Плитки, утюги, чайники — само собой. А кроме того, по надобности электромоторчик и швейную машинку крутит, и мясорубку. Конечно, проведен звонок. Нажми кнопку — и, пожалуйста, известно в квартире: гость пришел. Да и не только у них в квартире. Сколько раз, бывало, ночью даже я от него просыпался. Представляете, какое это сверло, если сквозь две двери уши бурлит? Но это все между прочим. Главное, о чем сейчас нужно было сказать, так это, что Маша за больной матерью мне ухаживать помогала.

Посмотришь на жизнь: из чего она складывается? Не только на работе или, скажем, учится, развлекается человек. Обязательно есть у него и всякие дела домашние. Самые простые: вроде — картошки на базаре купить, или суп сварить, или полы помыть. Всех домашних дел не назовешь, так их много. И без них ни один день не обходится. В кино или на стадион пойдешь не пойдешь, а обед каждый день варить надо. И давайте так разберемся. Если я на работе, а мать лежит к постели прикованная, — волшебница, что ли, картошку чистит и Ленькины рубахи починяет? Маша все это делала.

Мускулы у меня крепкие. И грудь как чугун, удар кулаком — загудит. А спроси меня: как я матери помогал, когда она здоровая была? Дров нарубить? Так это для меня не труд был, на этом я только силу свою наращивал. Другое дело, скажем, пол помыть. Тренировки мускулы тут не получают, мокрую тряпку держать в

руках неприятно, и спина устает. А у матери, выходит, не уставала, и мыть полы ей было сущее удовольствие... Или так: купит она на базаре сразу ведра два картошки, чтобы лишний раз не ходить. Пока до дому донесет, двадцать раз остановится. А мне бы не два ведра — целый куль взять на плечи, и то впропрыжку до дому добежал бы. Однако не ходил я на базар вовсе. Почему? Ну, вы сами это понимаете. Молодой, видный парень — и вдруг женскими делами занялся. Тут ведь кому что идет. Женщине держать в руках одинаково: что красивую кожаную сумочку, что, к примеру, авоську с редькой и с четвертью молока. Мужчине же...

Вот дошел я сейчас до этого места, перо обмакнул в чернильницу и задумался. Станут парни читать — обидятся. Скажут: не все такие. Хорошо. Пусть! Согласен. Такой только я один, Костя Барбин.

Не мыл я полы никогда. Суп не варил. И все прочее. Ну, а когда мать слегла, не знаю, как я вышел бы из положения, если бы не Терсковы. А короче, если бы не Маша. Но тут, представьте, что еще получилось, — какой оттенок. Мать, бывало, просит меня то или другое сделать, а я от домашних дел, как вода в щель, уходил. И не стыдился этого. А когда Маша на себя чуть не все наше хозяйство взяла — стыд у меня появился. И даже двойной.

Стыдно, что я бездельничаю — свой в семье, — а Маша, вроде и посторонняя, по дому хлопочет, и второй стыд — самому делать что-нибудь женское. Особенно при Маше. Вот штука!

Первое время最难的 всего Ленька доставался. Страшный лодырь он оказался. Семь лет ему, скажете? Правильно! Только теперь-то мне ясно, что не с семи лет, а еще раньше человек начинается. Пришлось взять Леньку в ежовые рукавицы. Ему что: раньше было «мама, дай поесть», а теперь — «Костя, дай поесть». Вот и вся разница. Условный рефлекс у него выработался. Только я в дом — он и заведет свою песню. Знаю, в обед его Маша кормила. Понятно — вечером будет ужин. И нет — свое тянет. Дай ему колбасы, консервов или сыру. А это дорого, если только все сыр да консервы. Вижу, надо не так. Ладно. Заноет Ленька, я ему сразу: «Чисть кар-

тошку, кроши капусту, скобли морковь». Он вертится: «Да-а, а ты сам-то не чистишь». — «Не твое дело, — говорю, — ты знай, что тебе старший брат приказывает. Даже корки хлеба не дам, пока суп не сваришь». И приучил. Стал у меня Ленька даже совершенно самостоятельно суп варить. Сначала ужасная вещь получалась. А потом ничего, усовершенствовали. Правда, мать все же советы давала.

Посуду мыть — куда бы уж проще? Технологии тут никакой. Сам глагол «мыть» все объясняет. Так Ленька даже из такого точного глагола совсем другое сделал. На секунду сунет под водопроводный кран тарелку и скорее полотенцем ее вытирает. Вода холодная, с жирной тарелки скатывается, и вся печаль на полотенце потом остается. А логика понятная: полотенца-то Маша стирала. Пришлось эту логику иначе повернуть. Заставить его самого стирать посудные полотенца. Помогло.

Драть штаны и рубахи Ленька умел замечательно. Если бы перевести его на сельщину, он бы, наверно, здорово зарабатывал. Только любишь кататься — люби и саночки возить. Заставил я Леньку взяться и за иголку с нитками.

Словом, так или иначе, а постепенно все нашло свое равновесие. Закон природы. Вот, к примеру, ударит с севера штормовой ветер. Задерет страшную волну на Енисее. С грохотом, с пеной, с брызгами! Сразу все пойдет ходуном. И воздух, и тучи, которые висят в воздухе, и вода, и то, что плывет по воде. Но сколько ни кружит, ни вертит погода, а потом опять все станет на свое место. И ветер утихнет, и небо посветлеет, и что на воде было — либо своим чередом поплывет, либо на дно опустится. Так и у нас. Сначала жизнь была на один лад, теперь пошла на другой, а все в своем равновесии. Каждый помаленьку нашел свое место и дело. Что по силам, что по характеру, а что и поневоле.

Интересно мне было первый раз идти на работу. Будто и солнце такое, как вчера, и река такая же, разноцветными огнями играет, и люди тебе навстречу попадаются те же. А сам ты, оказывается, уже какой-то другой. И только одно удивительно: почему же никто не замечает, что за событие в жизни у меня произошло? В школу

когда я впервые пошел, тогда тоже попадались мне встречные. Они как-то сразу угадывали: «Ну, бутуз, значит, в первый класс?» Остановят, еще что-нибудь спросят, похвалят. А тут на меня, как говорится, ноль внимания. Хоть сам людей останавливай и объясняй: «На работу иду». Из посторонних только Маша одна в то утро сказала мне: «Костя, поздравляю тебя». И все. Но эти ее слова почему-то крепко мне в память впечаткались.

На «Лермонтове» обязанности у меня были такие: швартовать к дебаркадеру пароход, когда он причаливает, и снимать чалку, когда отчаливает. «Швартовать» — оно вроде и здорово звучит. Прямо океаном от этого слова пахнет. А на самом деле — приткнется пароход к дебаркадеру, ты в это время с него трос на кнехт накинешь, и все. Паровая лебедка трос подберет, натянет. Силу свою применить совершенно не на чем. Отваливать — и того проще: только трос скинуть с кнехта. Думаете, может — «кнехт» что-нибудь очень замысловатое? Ни капли. Просто в русском языке почему-то слова одного не хватило или выдумки, как попроще назвать. Потому что кнехт — всего-навсего чугунная тумба.

Ну, по штату полагалась мне еще одна нагрузка — при выходе у пассажиров билеты отбирать. Тоже не премудрость. Люди идут мимо тебя, а ты у них из рук билеты, словно из поля сорную траву, выпалываешь. А когда разместятся новые пассажиры — отдыхай. Плынет пароход по реке — опять отдыхай. Словом, получается, работа — это отдых от отдыха.

Команда на «Лермонтове» была небольшая. И все молодежь, как я. Даже сам капитан бритвой скоблил, по сути, вовсе голые щеки. Ребята в команде подобрались интересные. Но в книге они не герои. И потому я сейчас — да и потом — подробнее только про двух расскажу, про тех, которые по жизни ближе других ко мне оказались.

С Васей Тетеревым я на пароходе познакомился, а Илью Шахворостова и раньше знал. Да чего там знал! В одном доме с ним жили, только в разных подъездах. И на лыжах, случалось, вместе ходили. Он неважко ходил, хотя и старше меня был на целых три года. Но на «Лермонтове» плавал, между прочим, пятую навигацию.

Школу после четвертого класса бросил. И этим вроде даже хвалился. «Я, дескать, всеобщее обязательное образование имею». Так даже в анкетах писал. На язык он очень острый. Правда, Маша к этому всегда добавляла: «А ум тупой». Но ребятам нравились всякие его прибаутки. Особенно, если соленые.

Отец Ильи шофером служил, а где — не скажу. Не потому, что знать я не хотел, а потому, что и знать было невозможно — больше как по месяцу он нигде не работал. Или сам уйдет, или его «уйдут». Если Илья только для вкуса любил приправить иное словечко, то отец у него так круто солил все подряд, что порой и понять невозможно: ругается он или просто разговаривает. Всегда хмурый, злой. Из-за этого я к ним и ходить не любил. Он, отец-то Ильи, и женился, наверно, столько же раз, сколько раз поступал на работу. И обязательно на самых молодых, хотя у него своя дочь — старшая сестра Ильи — десять лет уже как была замужем. Где-то на Дальнем Востоке. Брата она очень любила, каждый месяц деньги ему посыпала. Но это я к тому говорю, что Илья хотя тоже матросом работал, а курил только «Казбек» и в жару вместо газировки, бывало, пил сухое грудинское.

Какого цвета волосы у Ильи, не назову — сколько помню, сострижены начисто. И зря. Потому что голова у него некрасивая, словно кто ее пальцем, как глину, в разных местахмял. Понадавил ямок, да так потом они и остались. А у него еще привычка: ямки эти щупать. По глазам я догадывался все же, что Илья совсем белый. Знаете, бывают волосы, как стеклянные, даже будто просвечивают. И почему бы ни радовался Илья, все лицо у него от смеху морщинками изрежется, а глаза все равно останутся ледяными. Глянет — и как инеем по зеленой траве хватит! А когда разозлится — и вовсе. Правый глаз у него мигнет, и в нем промелькнет острый-острый зигзаг, какие на дверях трансформаторных будок рисуют.

А Вася Тетерев — парень другого склада. То есть даже не другого, а третьего, потому что ни на Илью, ни на меня он совершенно не походит. Весь он какой-то мягкий. И в целом, и по частям. Лицо у него, щеки, как по-

душечки, и рот он плотно не прикрывает, будто губы свои боится помять. Не стану зря говорить, какие глаза у него. Не видел. Всегда он дымчатые очки носит. Защиту от солнца. С кем беседует — обязательно воздух ладонью поглаживает. Голос тихий и чуточку как бы задумчивый. А прежде чем начать говорить, он непременно в руку осторожненько кашлянет. Сердитым Васю я никогда не видел. И румяным тоже. Летом загар не берет, а зимой мороз краски на щеки не бросит. Танцевал он очень красиво, плавно. Вальсы любил больше всего. А сам играл на мандолине.

Семья у Васи огромная. Отец и мать, дед и две бабушки да прабабушка, пять братьев и три сестры, и еще тетка с двумя своими дочками с ними вместе живет. Итого — восемнадцать человек. Среди братьев и сестер он самый старший, а вниз ровная лесенка, каждая ступенька — два года. Работающих у Васи в семье тоже много. Отец и бабушка одна — врачи, а мать и тетка — медицинские сестры. Другая бабушка — учительница. Дед — архивариус в управлении пароходства. Теткина дочка — чертежница в строительной конторе. А сам Вася с последнего курса техникума на «Лермонтове» проходил практику рулевым. Он и секретарем комсомольской организации был у нас. Как получка, обязательно всем напоминает: «Первая заповедь, ребята, — комсомольские и профсоюзные взносы».

А у меня, между прочим, вышло так с первой зарплатой. Перед получкой я целых два дня тренировался, росчерк разрабатывал. Чтобы сделать, как у самого начальника пароходства: и красиво, и неразборчиво. К примеру, не отрывая пера, гнать, гнать штормовую волну по бумаге — Барбин — кверху всплеск, и побежала этакая спиралька, как летний вихрь, все размашистее и размашистее, а потом — узел брамшкотовый! — оттуда опять бросок вверх, влево, через головы всех букв, и к началу фамилии «К» подставить: К. Барбин. В тетради здорово получалось. А у кассы не то. Прилавочек оказался тесным, локоть положить некуда, перо колючее, не скользит по бумаге, а в глубину лезет, и, хуже всего, на ведомости такая узенькая строчка, что фамилию в нее никак невозможно вместить. Но я все-таки

расчеркнулся по-своему, хотя и занял целых три строки и по всей ведомости брызнул чернильным дождем.

Только от кассы — Илья. «Э! Не зря, — говорит, — у меня сегодня нос чесался. Первый заработка, Костя, весь товарищам на угощение. Не ломай обычая!» И за рукав меня тянет. Я туда-сюда, никакие отговорки не действуют. Так и поддался бы я. Но заходит Вася Тетерев. «Получил деньги? — спрашивает. — А какой подарок купил матери? Деду?» И тоже обычаем называет — подарки родителям на первый заработка покупать. Зовет с собой в магазин. Ну, я, понятно, сразу же согласился. Пошли. А Шахворостов тоже за нами следует. Так втроем по магазинам мы и ходили. Матери купил я стеганое одеяло, чтобы не зябла зимой. А деду почтовый перевод сделал, пусть на свой вкус деньгами распорядится. И с Васей расстались мы. А Илья опять на меня навалился и заставил-таки зайти в павильон, цинандали с ним выпить. Подсели еще парни, кто — не помню, и тоже с нами пили, за мой счет. Скажу я: не очень вкусно было. Кислятина! И не очень весело. Как по обязанности какой пили. И что ноги потом плохо меня слушались, а глаза застилало горячей слезой — тоже мне не понравилось. И особенно ударило меня в сердце, что мать поняла все, когда я ей на постель подарок свой положил и, сам не знаю почему, совсем по-дурацки засмеялся. Но тут же я должен правду сказать: расплатился за выпивку я целиком, а Шахворостов, не сходя с места, пополнил мне весь расход. Сказал: «Это возьми, Костя, взаймы, чтобы с пустыми руками домой не прийти. Надейся: в трудную минуту товарища никогда не оставлю».

За лето на реке загорел я здорово. Плавал я на пароходах и раньше по целому лету, а такого загару, цвета каленых кедровых орехов, почему-то никак не мог достичь. И голос теперь у меня забасил. И шея не от жири, а потолстела.

Эх! Надо понять всю красоту речной жизни! Вот, к примеру, тихий, румяный восход солнца после душной ночи, когда на улицах висит тонкая серая пыль, а по-над берегом катится ветерок, такой ласковый, что даже вымпела на мачте не шевельнет, и поймать его, ветерок этот, можно только на мокрый палец. Купаться в Енисее

в такое утро лучше, чем в чистом нарзане, хотя, к слову сказать, в нарзане я никогда не купался. Дома в городе улыбаются, белые, свежие, стекла в окнах солнцу подмигают. «Подымайся, дескать, скорее». Поезд идет через мост, слышно, как паровоз дышит. Зачерпни в ладонь воды и плесни подальше — капли хрусталинками заговорят. Вот ведь какая бывает светлая тишина!

Да и не только по утрам на реке хорошо. А скажем, ливень с грозой. Молнии режут небо на части, в землю втыкаются. Гром из тучи хохочет. А вода в Енисее кипит, пузырится, белыми гвоздиками кверху подскакивает. В это время снять майку и выйти на нос парохода: а-ах! Пассажиры с верхней палубы под тент убегают, а ты стоишь себе, насищиваешь, и с мокрого чуба у тебя по лицу ручьи бегут.

И когда первый ледок у берегов появится — хорошо. Пост, звенит, похрустывает. На тросах мелкие сосульки бахромой висят. Поведешь рукой — раскрошатся. А ладонь после этого долго горит, горит. Из-под кожуха, от плиц, теплый пар поднимается. Не люблю я летом машинный пар, в горле першит от него. А осенью совсем другое дело. Мягкий он, и запах у него становится нежный. Забежишь на миг в такое облачко — и сразу теплота по жилам заструится. Ну, а потом снова в холод! Ничего — от такой перемены только быстрее двигаться хочется.

Лучше Красноярска города вообще нету. Я знаю, так и всякий из вас о своем родном городе скажет. Против этого возражать не стану — дело законное. А все же таких, как Красноярск, пожалуй, еще и не найти. Против всех других городов Красноярск потому уже лучше, что нет нигде реки краше Енисея. И притом такой могучести. Не верите мне — прочтайте Чехова; не то приезжайте, посмотрите сами. Где еще вы найдете такую чистую, светлую воду? Только в Ангаре. Так Ангара сама приток нашего Енисея! По легенде — его возлюбленная. От Байкала — а ведь тоже хорошее озеро! — Ангара сбежала, только бы с Енисеем ей слиться. К плохой реке, наверно, не побежала бы такая красавица. А быстрина в Енисее! Сила! Посмотрите на карту. Какая еще река во всем мире как раз поперек, от края и до

края, всю страну пересекает? Нету другой такой реки. И главное, как пересекает? Кривулин Енисей не дает, врубается прямо в горы, в скалы, режет в тундре вечную мерзлоту. Большой порог, Казачинский, потом Осиновский. Бей через камни напрямую! Смелые никогда не отступают и не отворачивают. Ближе к низовьям, что твое море — берегов не видать. В какую еще реку на тысячу с лишним километров от устья океанские корабли заходят? А утесы какие! Я названий пород не знаю, но скажу: нет на Енисее двух утесов, друг на друга похожих. У каждого своя особенность. Или цветом, или зерном камень от камня отличается, либо тем, наконец, как его природа, каким способом высотой домов в двадцать поставила. Скажете: значит, дикая река? Утесы, понятно, и еще на миллионы лет дикими останутся. И красота их та же останется. А на реке уже и сейчас жизнь веселая. И оттого она еще веселее, что кипит как раз посреди всей этой дикой красоты. И такого, я говорю, ни на какой другой реке не найдешь. Потому Енисей и особенный, потому Енисеем и хвастаюсь.

Ладно. Поглядим не только на реку, хотя вдоль нее Красноярск на добрых двадцать километров вытянулся. Отойдем в сторону от берега. Заберемся в горы, к нашим Столбам знаменитым. Конечно, это не Памир там и не Гималаи. Нет на них ни ледников, ни фирновых полей. Совершенно теплые скалы. Но, однако же, альпинисты, даже очень известные, лазать на них не стыдятся. Стыдятся, наоборот, те, кто подняться на Столбы не может. На Енисее хорошо восход солнца встречать. Ну, а на Столбах как — вы представляете? Забраться вдвоем с вечера на вершину самой высокой скалы, когда внизу, в ущельях, висят белые туманы, в паутине роса блестит, и листья берез от холода ежатся. А тебя греет теплое плечо товарища. Слов тут много не говорится. Ночь пройдет, как минута. А когда над лесом прорежется первый луч — тонкий, золотой, — только поглядишь молчком в глаза друг другу. Э-эх!.. Ну где в другом городе найдешь такое счастье?

Взять историю Красноярска. Слушал я лекцию интересную. И даже кое-что из нее в тетрадку для памяти записал. Знаете вы или нет, например, что нашему городу

за триста двадцать пять перевалило? Но не это дорого. Были в Сибири города и постарше Красноярска. Вроде Мангазеи. А на том месте теперь и гнилого бревна не сыскать. Или Тобольск с Туруханском. Тоже были знаменитые города. А что они теперь против Красноярска? Пересохли, как снеговые ручьи. А Красноярск, как Енисей, никогда не пересохнет. Почему? Потому что, спасибо ему, казак Андрей Дубенский в удачном месте город заложил. Вот он и выстоял до нашего времени. А теперь ему вечная жизнь дана. Жить ему и славу свою накапливать. Великий художник русской земли Василий Иванович Суриков где родился? У нас, в Красноярске. И не только родился — лучшие картины свои здесь он обдумал. Значит, может наш город душу большого художника наполнить? Силу в его кисть вложить? Может. И, стало быть, обязательно будут у нас и еще такие художники!

А за свободу свою как боролись у нас? Первый бунт в Сибири против царских воевод здесь подняли! В девятьсот пятом году тоже где, как не в Красноярске, так храбро рабочие против самодержавия сражались? Вон они, ямки от пуль, до сих пор в кирпичных стенах видны. Зайдите в паровозоремонтный завод, посмотрите. Кругом народ душила царская власть, а у нас уже в те годы «Красноярская республика» была. Да как же такой город не любить? И как же он не самый лучший? Словом, если бы я писал свою книгу о нашем городе, я бы вам по всем статьям доказал. Но книга у меня не о городе. А кроме того, вижу: очень сильно в сторону я и так взял.

На «Лермонтове» плавать, конечно, было неплохо. Не знаю, кто и как к трудной работе привыкает, а к легкой привыкают все очень быстро. Привык и я. Однако меня все же в дальние рейсы тянуло. Только дом как оставить? Но тут я стал привыкать и к тому, что люди помогут. Все относились ко мне со вниманием: у Барбина, дескать, мать больная и братишко еще недоросток, поддержать надо парня.

Сказал я об этом, и вспомнилось. В редколлегию стенгазеты меня выбрали. По совести, совсем небольшая нагрузка. Сами, наверно, знаете, как стенгазеты выходят. Но после собрания столкнулись мы у дверей с Шахворостовым. Он: «Теленок и то мычит, когда ему на хвост

наступят. А тебя, Костя, в редколлегию втолкнули, и ты промолчал. При твоем-то семейном положении да еще состоять в редколлегии! И на этом разговор оборвался, в толпе разъединили нас. А на другой день Вася Тетерев меня подзывает. «Тут, — говорит, — от товарищей заявление насчет тебя поступило. Зря ты на собрании сам промолчал. И я не подумал. В положение твое, действительно, надо бы войти, но переизбирать сразу же, сам понимаешь, неудобно. Сделаем так: числиться будешь ты, а работу на других членов редколлегии разложим». С маxу я было обрадовался, а потом раздумье взяло. Наутро я сказал Васе Тетереву. Только как-то невнятно сказал — два чувства у меня сшиблись в душе: вроде бы и желательно не забивать себе голову лишними заботами и, опять же, самому себя лишать доверия товарищей неохота. Вася покашлял в ладонь: «Ладно, Барбин, все-таки загружать тебя мы не станем. Уделяй больше времени матери, брату. Воспитать парня не шутка». Так и освободился я тогда от стенгазеты. Только, правду сказать, на воспитании Леньки это никак не отразилось. А Шахворостов еще посоветовал: «Ты научись, Костя, и работенку себе выбирать».

Он-то умел выбирать. Это я понял, когда мы вместе стали зимой на отстой вымораживать суда. В руках у него, как и у всех, лом или лопата, а работает только языком. Но мне было тогда ни к чему разбираться. Главное, всех развлекает. А под веселый рассказ и у тебя руки легче двигаются.

За зиму я очень привык к Шахворостову. Может, еще потому, что он все время меня за силу мою похваливал. А чье сердце на похвалу не отзовется? В выходной день уйдем вместе с ним за город на лыжах, я бегу целиной, а он по моей лыжне. Сзади кричит: «Ну, Костя, ты и ходок! Говорю тебе: чемпионом мира будешь». На работе глыбу льда пошевелит руками: «Ну, нет, это, Костя, только по твоей силе. Ну-ка, покажи класс!» Я стараюсь, ворочаю, а он сидит, головой покачивает: «Вот это богатырь! И не обидно мне, а лестно.

В эту зиму, в сильные морозы, пить водку я начал. Посто граммов — не больше. Тоже Илья научил: «Триста на бок валит, двести веселит, а сто только мороз от-

гоняет». Правильно. Очень греет. Хотя вкус у водки самый противный. Ну, да сто граммов, зажмурясь, в один глоток опрокинуть можно. Дома я капли в рот не брал. Мать огорчилась бы. Пьющих очень она недолюбливала. Маша один раз заметила все-таки: «Костя, зачем ты это?» Но матери моей не рассказала.

Вообще в ту зиму был я какой-то очень неопределенный. Потому, наверно, и пишу так, вразброс. Было со мной, как бывает в игре, когда колечко прячут. Вокруг тебя десять человек, а как угадать, у кого оно спрятано? Вот и тянет тебя то к одному, то к другому, а то и сразу всех схватить за руки хочется.

На кого только не хотелось похожим мне быть! По характеру, конечно. Из книг — чуть не на всех героев. И на Чапаева, и на Павку Корчагина, и на Алексея Мересьева, и на Олега Кошевого, а не то вдруг на «минхерц» — Алексашку Меншикова, или даже на Труфальдино. Из живых людей, моих знакомых — тоже чуть не на каждого. Илья чего говорит, делает — я от него беру. С Васей Тетеревым встретишься — и на него похожим хочется быть. Даже такие очки носить и в ладошку покашливать. Степан Петрович остановит, свои советы начнет давать — вот бы и мне рассуждать так убедительно. От Ольги Николаевны занять ее бережливость и к порядку в доме любовь. От матери — ее терпение. От Леньки... Ну, от этого ничего не займешь. Получается, прямо или сразу собирай в кучу от разных людей то, что нравится, или по очереди меняй их. И тут я стал чувствовать: долго такая путаница во мне сохраняться не будет, и, наверно, начнет одолевать что-нибудь одно. Но об этом как раз со следующей главы и пойдет разговор. Здесь же остальную свою биографию до девятнадцати лет я закончу коротко, как в анкетах пишут.

Две навигации потом я на буксирных пароходах плавал. До Енисейска. Садились мы, конечно, и на мели. И в штормах болтались. Слышалось и по горло в ледяной воде купаться. А зимой, как и полагается всем матросам, опять на отстой и на ремонте я работал. Только теперь потянуло меня плотничать. Есть где показать свою силу. Вывостришь топор, размахнешься — щепа толщиной в

руку летит. Илья качает головой: «Барбин, а с одного замаху ты можешь бревно пополам перерубить?»

Смог я теперь и плавать подальше от дома потому, что из Леньки постепенно хорошая хозяйка выработалась. У него даже особый интерес к домашним делам появился, своя инициатива. И в школе учился парень тоже не плохо, хотя пятерки ему, как и мне, не очень часто перепадали. Матери полегче стало. Вернее, и не полегче, а просто с болезнью своей свыклась она и приспособилась прямо на постели шитьем заниматься — тягостно ей без всякого дела лежать.

Маша стала реже заглядывать к нам. Спросит: «Костя, тебе не надо помочь?» Скажешь: нет, не надо. Иначе и отвечать было совестно: Маша как-никак учится, зачеты, экзамены, а потом еще и всякой общественной работы она себе набрала. А у меня, между прочим, с того вмешательства Шахворостова нагрузок никаких и не было. Все берегли меня.

С Ильей мы не то что сдружились, но, когда три года работаешь вместе — привычным становится человек. Тем более, который за товарища всегда горой стоит. И не скучой он: надо взаймы — даст без слова. У него всегда деньги: своя зарплата и еще сестра ему посыпает. Правда, вроде бы я замечал иногда: продает Илья хорошие вещи. Но это его личное дело, если тоже с Дальнего Востока сестра присыпает, а они ему не нужны, что же тут плохого?

Вася Тетерев все на «Лермонтове» плавал. И встречались мы с ним теперь только зимой, на отстой. Секретарил в комсомольской организации он прямо бессменно. Люблили ребята его выбирать. Тихий, в беседах выдержанки у него хватает. Только бы хватило у того, с кем он беседует. И еще тем был Вася хорош, что все любил делать сам, редко поручениями других комсомольцев беспокоит.

Вот. А перед этой весной объявили мне, Шахворостову и Васе Тетереву, что зачислят нас в команду на большой пассажирский теплоход «Родина». Узнал я, что Маша будет тоже плавать на этом же теплоходе радиостанцией. И тут, с этой весны, и начались в жизни моей повороты. С новой главы я и возьмусь об этом рассказывать.

Глава третья

ПОЧЕМУ Я НАГРУБИЛ

Медицину как науку я признаю. Синоптики погоду тоже сами не выдумывают. И в той, и в другой науке существуют свои законы. Но не все они еще открыты. Потому люди и не верят синоптикам. Особенно, когда те на воскресенье плохую погоду предсказывают. То-то злорадство начинается, если вместо дождя выдастся солнечный день: «Это у синоптиков обязательно так — все наоборот!»

То же и насчет медицины. Согнет болезнь человека — и сразу: «Доктор, любые лекарства, любые уколы. Нужна операция? Режьте!» А пока здоров, ходит и фыркает: «Что? Врачи? Иванова насмерть залечили. Петрову живот разрезали да снова зашили, ничего не нашли. Сапожники!» Я и сам так говорил, и вы, наверно, говорили. И про синоптиков, и про врачей. И это не от неверия в науку вообще, а просто так, по природе своей — противиться всему неприятному: плохой погоде, плохому здоровью. Тем более, что они нарочно приходят как раз тогда, когда не надо.

Никогда я не болел. Ленька — тот беспрестанно. А я был точно застрахованный, вернее — хорошо закаленный. И все-таки свалил меня какой-то злой грипп. Да так свалил, что Ленька на дом врача вызывал. Конечно, не сразу. Сперва я, как и все, хорохорился: «Что? Пойду я лечиться к сапожникам? Чихать мне на всякие насморки!» И чихал я, действительно, здорово, прямо без перерыва чихал. А насморк, назло ему, лёдяной водой вышибал. До тех пор вышибал, пока на сорок градусов всего себя не нагрел. Тут и сдался. И отлежал я в постели ровнехонько шестнадцать суток. А «Родина» тем временем в рейс первый да и во второй ушла.

Я это рассказал потому, что из-за этой глупой болезни мы с Машей до начала навигации на Столбы не сходили. Восход солнца там не встретили. Свой обычай нарушили. И пришлось мне ждать еще две недели до промежутка от второго рейса «Родины» до третьего. Вы скажете: «Ну, беда и не так велика. Месяцем раньше,

позже... А на Столбах еще и лучше в середине лета — теплее». Правильно! Только дело все в том, что неизвестно, повернулась бы или нет в мае биография моя так, как в июне она повернулась.

«Родина» в субботу прибыла с низовьев Енисея. А в новый рейс пойти должна была через день. Как нарочно, для нас воскресенье выкраивалось. Приятно — праздник общий. Хотя, с другой стороны, по воскресеньям на Столбах всегда и толкучка большая. Даже не всегда на склах сразу найдешь хорошее местечко, чтобы только вдвоем восход солнца встретить.

Слушаю я в пятницу вечером прогноз погоды на субботу. Передают по радио: «Днем ветер северо-западной четверти, облачность и так далее. К ночи — со значительным выпадением осадков».

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Если поверить синоптикам, никакого восхода солнца в воскресенье не будет. Сердце у меня, как у ежика, колючками так и всторопшилось: выбрали же синоптики день для осадков!

Утром в субботу Маша спрашивает:

— Костя, правда, что прогноз плохой на завтра? Сама я сводку погоды не слышала.

— Прогноз, может, и плохой, — отвечаю, — а погода будет хорошая. Сама знаешь, синоптики всегда врут.

— Ну, смотри, — говорит. И палец даже подняла. — С нами моряк один пойдет. Неловко будет, если он попусту вымокнет.

Разговор этот случился на лестничной площадке. Маша постучалась к нам, а заходить в квартиру не стала. Я уже рассказывал, что с Машей мы почти ровесники, стало быть, по крайней мере восемнадцать лет на этой же площадке встречались.

И вот, допустим, Илья, Вася Тетерев — парни; Ленька наш, Мишка, брат Васи Тетерева — пацаны; Степан Петрович, Ольга Николаевна — взрослые. А Маша, сам не знаю почему, возраста словно никогда и не имела. И я тоже при ней своих лет не замечал.

Но тут, когда Маша упомянула про моряка, я сразу почему-то почувствовал, что мне девятнадцать. Может, даже и двадцать. Или — двадцать пять. Стою я, развер-

нув плечи нарочно так широко, что на груди чуть рубашка не лопается. Да-а... Сколько лет я Маше в лицо глядел и, честное слово, не знал, какие у нее глаза. А тут вдруг заметил, что они совершенно синие, пожалуй, даже чуть сзелена, вот как вода в Ангаре. И еще: вокруг зрачка мелкие черные крапинки. Не знал я тоже, почему Маша такая светлая. А тут понял — свет-то в глазах у нее заложен. Но не одинаковый. Улыбнется — и глаза засветятся. Нет улыбки — и свет холоднее. А совсем не гаснет. Не гаснет потому, что совсем без улыбки у Маши лицо никогда и не бывает. Другие девушки улыбку умеют делать. Только смеется такая, а видишь — ей не смешно, тебе же и вовсе не весело. А у Маши всегда своя, не сделанная улыбка, и всегда левая бровь словно бы чуточку приподнятая, и всегда хочется и тебе в ответ засмеяться. Но тут я стою, вижу глаза, вижу улыбку Машину, а ответить ничего не могу, потому что свет от нее идет куда-то мимо меня.

А Маша словно бы ничего и не заметила.

— Значит, так условимся, Костя: ты зайдешь за ми. А я сейчас — в управление пароходства.

И побежала по лестнице. Только каблучки по ступенькам пощелкивают. Хотя бы спросила, не попутчик ли я. Мне ведь тоже надо было идти в отдел кадров, разъять приказ — назначение на «Родину».

Вечером отправились мы на Столбы.

Что у каждого в голове было в тот день — не знаю. Во всяком случае, у меня все время — моряк этот, Леонид, хотя и запомнил я у него только черные усыки и золотой зуб.

Вы, может быть, ждете теперь, что я стану рассказывать, каким неловким и жалким оказался Леонид в походе? Или, наоборот, — очень ловким и смелым? Нет, не могу я сказать ни того, ни другого. Держал он себя точно в меру. И не боялся трудных ходов и не лез куда попало, очертя голову. Так лез я! И это получалось глупо, потому что Маша знала не хуже меня ходы на все скалы и видела, как я выкидываю свои фокусы. Один раз она даже не вытерпела:

— Костя, ну что ты сегодня скачешь по камням, как козел?

— Да потому, — говорю, — что я не осел, который скакать по камням не может.

Не знаю, почувствовал или нет яд моих слов Леонид, но Маша успела прежде него сказать: «Спасибо». И вышло, что ослом я назвал Машу.

В этот день на Столбы двинулось чуть не полгорода. По всем дорогам, издали приглядеться, будто сплошь цветы расцвели — на Столбы серенько одетые люди не ходят.

Мы шли главной дорогой и тоже, наверно, были похожи на цветы. Особенно Маша. Вот вам ее костюм: Яркий-яркий, будто горная саранка, красный платок, кофточка светло-голубая, а шаровары — синие. Кушак тоже красный, хотя и потемнее цветом, чем косынка. Представляете, как все это играло на солнце?

Молча по дороге на Столбы пройти невозможно. Даже того, кто скучает, все равно другие раздразнят, расшевелят, заставят и петь и смеяться. Грустить у нас люди ходят не на Столбы, а на остров. И мы шли, пели и смеялись, и задирали других, кто казался нам невеселым. Вообще я терпеть не могу, когда девушки визжат. Мне кажется, что они это делают нарочно. И уж, во всяком случае, если не нарочно, то удержаться они могли бы. А вот столбисткам я прощаю и даже завидую, радуюсь, когда они визжат. Завидую потому, что самому мне нечем так сильно восторг свой и счастье выразить, чтобы это и другие люди поняли, а радуюсь потому, что чувствую — и мой там голос, в их счастливом визге. Словом, валяй во всю силу! На всю тайгу! И, хотя от Лалетиной семь километров нужно в гору взбираться, всегда идешь, словно вниз бежишь. Но в этот раз мне почему-то даже Машин костюм не нравился, казался скучным и тусклым, смеялся я и разговаривал перехваченным горлом, подъему не было конца, а все девушки визжали так страшно, будто они обрывались и падали в пропасть с утесов.

По субботам на Столбы тянутся тысячи людей. Кажется, кто придет последним — тому и деваться в лесу будет негде. Хоть стой в очереди и жди, пока место освободится. А на самом деле рассыплются все эти тысячи так, что, бывает, и голосу человечьего не услышишь,

Конечно, на ближних Столбах всегда как в муравейнике. Либо по скалам целыми ватагами люди лазают, либо в кустах водку пьют. Любоваться на столбовские чудеса большой компанией никогда не ходят. При шуме и гаме в душу тебе вся эта красота не западет. Чтобы понять ее по-настоящему, надо остаться одному. Или вдвоем. И сидеть тихо-тихо, чтобы как растет трава слышать, чтобы в небе даже паутинку разглядеть, когда ее ветром несет, вникнуть, вдуматься в каждый знак живой природы.

Вот тогда вернешься домой и ночью тебе Столбы все будут сниться, и надолго останутся в памяти и теплый камень у тебя под рукой, и на губе соленая капля пота, и верхушки могучих сосен, похожие на кустарник, когда ты глядишь на тайгу с высоких обрывов, и перевалы, хребты, сперва зеленые, потом синие, а в самом далеке вовсе уже голубые, под цвет неба, и в небе радужная паутинка с крохотным паучком на конце. Ну, а про восход солнца я и говорить не буду. Только вдвоем ведь можно заметить тот дорогой миг, когда из-под золотой зари над лесом брызнут на скалы самые первые, росинками раздробленные лучи и у тебя в душе песней отзовутся! А прохладный ветерок слетит откуда-то рядом с тобой, будто он тоже терпеливо ночь ночевал, дожидался, и тронет по пути чуть-чуть твои волосы, щеки, либо к тебе на щеку волосок от товарища принесет! Словом, не знаю, понимал или нет Леонид и понимала ли Маша, что настоящего восхода солнца нам все равно не увидеть, а я-то знал, что втроем идем мы зря.

Маша, наверно, все-таки понимала. Потому что, когда мы поднялись к ближним утесам и увидели, сколько повсюду костров наготовлено, она сказала:

— Костя, пошли на Четвертый столб, если успеем.

Я молча шагу только набавил. А к Четвертому столбу, между прочим, вовсе не такая веселая дорога, как от Лалетиной до первых утесов. И усталость дает себя знать, и буреломы. Только и знай, что перелезай через валежник или ныряй под него. Оглянусь — ничего, идут. У Маши лицо горит. Раскраснелась прямо под цвет косянки, капельки пота со лба ладонью смахивает. А Лео-

нид, скорее, даже побледнел, и оттого усики у него определенно еще чернее стали.

Очень хотелось есть. Но поужинать мы договорились на верхушке Столба. Если кто еще подойдет сюда, так самое лучшее место уже будет занято. И подниматься засветло лучше, чем в сумерках. Впрочем, я-то полез бы и ночью — такое было настроение. Это, наверно, и вам знакомо, когда под настроение человек хоть по канату готов через Енисей перейти.

Утесы здешние недаром «Столбами» называются. Это не выступы гор, а совершенно отдельные скалы. Высокие, могучие. Гранит или там сиенит, но, в общем, прочные камни. А формы такой, что трудно поверить, как без человека природа их сделала! Вот «Дед», например. Точненько высечена голова бородатая. Или «Перья». Веером развернулись. Вот, кажется, от ветру зашевелятся. А в каждом «перышке», пожалуй, миллиарды пудов. От подошвы этих скал глянешь вверх — шапка валится, стоят утесы стена стеной. Ну, а кто знает — хватайся рукой за махонький выступ, ногой в трещину — и пошел. Вдвоем и совсем хорошо — друг друга кушаками вытаскиваешь. Есть такие места, что только вдвоем их и одолеть можно. Да еще смотря по тому, кто эти двое. Мы с Машей все Столбы облазили.

Мимоходом сказать, я и на той скале побывал, где в девяностом году подпольщики-революционеры слово «Свобода» написали. А жандармы его уничтожить потом никак не могли. Боялись ходить по узкому уступу над пропастью. А я ходил, нисколько не боялся и соображал, что бы такое написать и мне рядом со словом «Свобода». Но Маша сверху мне крикнула, чтобы я не вздумал там ничего писать, потому что это исторический памятник и, кроме того, прекраснее слова «Свобода» другого все равно не найти.

Дошли мы до места. На Четвертый столб есть ходы и попроще, а я нарочно выбирал самые трудные. Маша то и дело мне говорила: «Костя, куда ты полез?» И я переходил, куда показывала Маша. Но все равно оставался я в дураках, потому что было понятно: опять выкидываю фокусы. От этого я злился еще больше, а перебороть себя уже не мог.

Взбрались, наконец. Стали у самой кромки обрыва. Леонид крутит черные усыки: «Превосходно! Отлично! Изумительный вид!»

Маша тоже сказала: «Очень хорошо!»

А я стоял рядом и удивлялся, чем они восторгаются, потому что в тот день совершенно ничего красивого видно не было. Даже не знаю, как и написать, что я видел тогда. Ну, скалу, на какой мы стояли. Кажется, была она серая. Небо, определенно, серое, его, пока мы шли, почти всплошную затянули облака — не подкачали синоптики.

Тайга у подножия скалы тоже казалась серой — уже начинались сумерки. И даль была вся в сером тумане. Откуда только и собралась вся эта серость? Ничего веселого! Все одинаковое. Но я стоял и тоже говорил, что очень красиво.

Потом сели мы ужинать. Запасы готовила Маша. Она знала, что надо брать с собой. А Леонид пожалел, что не оказалось шампанского. Наверно, он был любителем этой штуки. Тогда и я стал жалеть, что не взял водки. Будто мы с Машей на Столбах только и пили, что водку. И Маша опять глядела на меня с укоризной и говорила: «Костя, что ты болтаешь глупости!» Мне делалось стыдно. А потом я опять начинал болтать глупости и никак не мог остановиться.

Тут Леонид разгладил ладонью газету, в которой были завернуты пирожки, и стал вслух читать фельетон. Или было уже сумеречно и оттого он плохо видел напечатанные строчки, или вообще не умел читать с выражением, но слушать было совсем не смешно. Хотя наш фельетонист Горелов писал всегда так, как вот клоуны в цирке, когда они друг другу коленом поддают или бамбуковыми палками по головам лупят — и не хочешь да захочешь. Фельетон был про Лепцова, начальника какого-то там закупснабсбыта. Суть же фельетона заключалась в том, что этот самый Лепцов на государственные деньги себе особнячок соорудил. И зеркала еще, и ковры, и картины, и даже домашнюю собаку с обрубленным хвостом. Устроил себе, как говорится, жизнь на полный ход.

Хотя фельетон был совсем не смешной, но разговор



...я стоял и тоже говорил, что очень красиво.

почему-то как раз вокруг него пошел. И я подумал: когда мы с Машей вдвоем ходили на Столбы, о фельетонах мы не разговаривали. Больше молчали. И было куда интереснее.

Начал разговор Леонид.

— Вот, — говорит, — ведь это люди нашего времени. И отцы у них были достойные, с собой пережитков от царских времен не принесли. Да, это не унаследованный пережиток, он к ним заново, в чистые души пришел. Откуда?

Маша подумала:

— Откуда — это понятно. Стало быть, у нас еще можно пожить за счет других, и вообще пожить пошире, чем тебе по труду твоему следует. А коли такая возможность есть, могут и мысли такие сложиться. Вы скажите лучше, как другие допустили своего товарища до этого? Ведь не в миг один все это он сделал. Среди людей был. В коллективе.

— А! Чего тут голову ломать, — говорю, — когда и так все ясно. Был он начальником. Подчиненные, как полагается, боялись его. А сверху не сразу все разглядышь. Разглядели и, пожалуйста, — испекся.

— Но ведь не все же начальники, Костя, так поступают!

А Леонид прибавил еще:

— И наоборот, так, как он, бывает, многие из самых рядовых людей делают.

— Значит, просто милиция плохо работает. И судят мало!

Леонид щурится:

— Милиция... Суд... Это все, Константин, уже разновидности наказания. Как предотвратить дурные проступки людей?

— Да я-то при чем? Особняк себе за казенный счет я не строил и собаку с обрубленным хвостом не покупал. Пережитки капитализма у Лепцова — не у меня. И мне до него нет никакого дела!

Машу прямо так и подбросило:

— Костя! Да не в том ли вся и штука, что тебе до него дела нет? Неужели тебе не жаль, что человека будут судить?

— И ни капельки, — говорю. — Туда ему и дорога. Заворовался, так и вздуть как сидорову козу!

А Маша почему-то очень развелновалась. Стала говорить, что мы все друг за друга ответчики, что нам до всего дело должно быть! Не суд и не милиция строит наше общество, а мы сами. И, если наши товарищи попадают под суд, мы виноваты — не уберегли человека от всяких вредных влияний. И опять мы да мы, так, что мне стало даже смешно — получалось: жулик пограбил, пожил в свое удовольствие, а мы теперь должны мучиться, не его, а себя винить. Леонид соглашался с Машей, а я опять городил что попало, лишь бы только ему наперек. И до того мне надоел весь этот пустой и не к месту совсем разговор, что, когда Леонид буркнул что-то такое, вроде «Константин полез, сам не знает куда» — я так и отсёк:

— Что же мне, молчать? Или с утеса вниз головой броситься?

У Маши и голос задрожал.

— Костя, — говорит, — к людям нужно всегда иметь уважение. Тем более, что Леонид — гость. И еще: он сын нашего капитана.

Я не знаю, для чего Маша сказала последние слова. Вернее, знаю теперь, а не знал тогда. И я, не сдержавшись, ляпнул последнее:

— Вот уж никогда не подумал бы!

И это можно было понимать как хочешь. Просто удивление. Или то, что сын капитана должен быть не таким, а лучше. Или даже, что Маша перед ним выслушивается... Сам я и сейчас не знаю, какой тогда был смысл в этих моих словах, скорее смысла не было вовсе, а только грубость и злость. И, наверно, еще дальше бы дело зашло, но Маша вдруг показала рукой:

— Глядите, глядите, как зарево от костров красиво желтит утесы!

На этом спор наш и оборвался. Мы замолчали. А я отошел на самую-самую кромку обрыва. Долго стоял один. Потом рядом со мной оказалась Маша. Как — я даже не понял.

И, хотя мне весь этот день казалось, что Столбы потеряли свою красоту, я стал помаленьку приглядываться.

И верно: дальние утесы, под которыми горели костры, непрестанно менялись в цвете и становились то ярко-желтыми, то багрово-красными. Совсем так, как меняется и сам цвет пламени у костра. Но вершины елей оставались черными, как чугунные, и острыми, как пики. А оттого, что концы ветвей у деревьев были опущены, казалось — если рванулись с земли в небо, да так почему-то вдруг и замерли, застыли. Даже ветки у них не смогли приподняться.

Вся остальная тайга окрест Столбов слилась воедино, потерялись и долины, и перевалы, и горизонт. Все стало плоское, одинаковое. Подул несильный ветер. Над самым нашим утесом низкие двигались облака. И временами казалось, что они стоят на месте, а навстречу облакам лечу я вместе с утесом. И это казалось, наверно, не только мне, потому что и Маша вдруг схватила меня за плечо, будто испугалась, что упадет.

Когда мы шли еще сюда, нас сильно одолевала моска. И здесь, на скале, она сначала надоедно лезла в глаза. Но теперь ветром ее всю унесло. И вообще стало как-то по-особенному легко и приятно. Цвели сосны; поэтому пахло вместе и медом, и смолкой, и хвоей, за день распаренной солнцем.

— Горный ветер, — сказала тихонько Маша, будто сама с собой. — Люблю! Какой он нежный и чистый, светлый, словно родник. Нигде не бывает такого: ни в степи, ни в лесу, даже над рекой. Мне всегда кажется: горный ветер — это как в сказках живая вода. Он обновляет человека. — Чуточку помолчала. Спросила: — Тебе сейчас легко дышится, Костя?

Я совсем забыл, что целый день злился:

— Очень легко!

И тогда Маша отошла от меня.

Немного погодя она покликала меня, сказала, что до восхода солнца можно бы отдохнуть. Каждый прикорнулся прямо на голой скале. Но у меня ворохнулась мысль: «Когда мы сюда приходили с Машей вдвоем, мы не спали. А теперь вздумали спать...»

Не знаю, как они, а я все равно не уснул. И почему-то все время думал о Лепцове, и о нашем разговоре, и о том, почему я так нагрубил. Но связать вместе все

никак не сумел. Чувствовал лишь одно: если бы не Леонид, Маша со мной сегодня так бы не разговаривала. Даже голова разболелась от этого. И тогда, чтобы больше не мучить себя такими мыслями, я стал думать о другом: как хорошо Маша сказала про горный ветер, что он нежный, чистый и светлый и похож на живую воду. Очень верно сказала. И я лежал и ловил его губами, пил полным ртом, будто пил живую воду...

Утром выяснилось, что синоптики не соврали. Вернее, соврали, но не целиком. Облачность на небе сложилась за ночь очень плотная, а осадков не получилось. Ну — и восхода солнца тоже. Рассвело мутно, серенько. И таким же бледным потом и весь день остался. А в пасмурный день мошка особенно сильно бесится. Я молчал. Леонид крутил свои черные усики, а Маша почему-то оправдывалась перед Леонидом и говорила, что такая мошка на Столбах редко бывает, словно Маша сама была виновата и в плохой погоде и в этой дурацкой мошке.

А я в уме грозился синоптикам: «Эх, почему не состоялись осадки! Хватил бы хороший ливень. С грозой. Так, чтобы от лиственниц щепки летели, когда, бывает, молнией в вершинки им попадет!» Правда, Маша, наверно, тогда расстроилась бы и еще больше, но мне было бы легче.

Как мы вернулись домой — неважно. Важно то, что у дома распрошались мы странно: Леонид мне четыре раза сказал спасибо, а Маша забыла даже руку подать.

Глава четвертая

ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ

А дальше было так.

В третий свой рейс «Родина» отходила во вторник, в пять часов утра. Посадка пассажиров начиналась в четыре. И поэтому люди собирались на берегу уже с вече-

ра. Охота ли ночью тащиться с вещами по темным улицам? А вообще — такое раннее отправление придумано с глубоким смыслом. Во-первых, чтобы люди могли полюбоваться рассветом на Енисея, а во-вторых, чтобы они не толклись под окнами пароходства днем и не мешали работать. Но это лишь к тому говорится, что на первую свою вахту заступить я должен был в четыре утра и, стало быть, к этому времени на теплоход явиться обязательно. А тут, как-никак, собственные сборы в дальний путь.

Леньку нужно было настроить и с матерью попрощаться.

Словом, подхожу к причалам, а там уже кипит, полным-полно пассажиров и провожающих. Интересная картина. Парочки гуляют. Поют. Орехи грызут. В иных местах по двое под одним плащом на чемодане сидят. Луна им подсвечивает...

У самого спуска к реке — навстречу мне Илья Шахверостов.

— Здорово! — говорит. — А я тебя жду. Будем вместе. Помещение — прелесть! Всего на четверых. Ребята хорошие.

— Ну, а как теплоход? Тоже хороший?

— Да все получше, чем «Лермонтов». В общем, работать можно. — Взял меня под руку и показывает на толпу: — Вон сколько пассажиров сегодня! Каюты и весь третий класс какая-то экспедиция целиком закупила. В кассу только палубные билеты дали. А народу наплыv. Так и палубные в драку хватали.

И начинает рассказывать, что среди пассажиров на берегу томятся две женщины — его родственницы. Ехать им до самой Дудинки, с лишком две тысячи километров. А когда народу такая прорва, разве слабым женщинам занять удобные места? Провести бы их и поместить куда получше до начала общей посадки, так на вахте у трапа стоит Длинномухин, не матрос, а змей какой-то. Поскорился с ним вчера, он и мстит теперь.

— Вся надежда, Костя, на тебя. Выручи товарища.

— Да я как же могу выручить?

— Очень просто. Скажешь: мать с сестренкой тебя провожают.

— Да ведь мать-то у меня больная лежит! Кто этого не знает? — говорю. — А сестры и вовсе нет никакой.

— Чудак! У тебя-то этот змей документов спрашивать не станет. Скажешь в крайнем случае: мать попривилась, а сестра из Иркутска в гости приехала.

Так наслел на меня, что я и согласился. В самом деле: товарищ о своих родных заботится. Кому ущерб? А люди не безбилетные. Представляете, как двум женщинам с вещами в толпе при посадке бока намнут?

Багажа у них оказалось порядочно. Ну, да чего там — силу, что ли, свою жалеть? Через плечо на ремень два чемодана, а в руки еще два — и пошел. Илья со своей родней следом за мной шествует. Пассажиры шумят, волнуются. Шахворостов им знаки делает: «Порядочек! Тихо, тихо! Это свои, пароходские».

На трапе, действительно, — стоп! — вахтенный непускает. Но Илья тут как тут:

— Да ты что? Это же Барбин — наш новый матрос, с собственными вещами идет. Белье, книги, папиросы. С сестренкой мать его провожает. Леночка, проходи, проходи, дорогая, не бойся.

Ну и меня вслед за ним потянуло сказать:

— Мама, не задерживайся.

Так и прошли мы.

Усадил Илья родственниц на самое-самое лучшее место, ничуть не хуже третьего класса и, заметим, много дешевле. Ну конечно, женщины руку пожали мне, всяких горячих слов наговорили, и пошел я от них умиленный. Знаете, как это приятно, когда товарищу поможешь и вообще людям доброе дело сделаешь! Особенно так вот, в начале большого плавания. Этого чувства потом надолго хватает, с чего оно началось, случается, даже забудешь, а все одно в душе что-то такое звенит и звениит...

Жилище наше мне понравилось. Четыре койки. Две внизу, две над ними. Моя верхняя. Матрас. Чистые простыни, одеяло, подушка. Чего еще пожелать? Другие матросы в кубрике и по десять, по двенадцать человек вместе живут.

Сели мы с Ильей, окошечко открыли, прохладой речной подышать. Ночь, тишина, а все равно Енисей волнной

в борт теплохода плещет, будто стекляшки там пересыпаются. От луны через всю реку золотая дорожка лежит. Об этом, кажется, Чехов или Тургенев писали уже. А может, и тот, и другой? Тогда я — третий. Но не упомянуть о ней просто невозможно, такая она красивая и словно приглашает: «Шагай, матрос, на тот берег. Пожалуйста».

Поразговаривали с Ильей. «Ну, значит, опять вместе плаваем?» — «Выходит, вместе». И еще в том же роде, так, всякие пустяки, слова привычные. Только одно он в новинку сказал, интересное: Васю Тетерева назначили боцманом, а совсем недавно избрали секретарем комсомольской организации. Последнее, положим, и не новинкой было.

Поговорили мы и разошлись. Илья опять к своим родственницам, а я — на верхнюю палубу, послоняться до начала вахты.

Поднялся. Стою один. Воздух чистый, свежий, речной. И опять лунная дорожка через весь Енисей. Тянется прямо в горы, к Столбам. Гляжу на нее, и почему-то Маша припомнилась, горный ветер, чище которого даже и на реке нет.

С тех пор мы с Машей не видались. Она тогда сразу же на теплоход ушла. Подумалось: интересно — спит она сейчас или нет? Вот как раз ее владения. Табличка с надписью: «Радиорубка». Рядом и каюта: «Радист». А на нашей обозначено во множественном числе: «Матросы». И дверь в радиорубку дубовой фанерой оклеена, а у нас простыми белилами покрашена. Да-а... Вот тебе и Маша!

Но все это я подумал совсем не от зависти к ней. Правильно. Заслужила. Полагается. А радист или матрос — на теплоходе нужны одинаково. Это дружбе нашей не помешает. И в мыслях тут же запнулся. Это не помешает... А что помешает? Не знаю. Но все-таки в чем-то она от меня словно бы отдалась, и мне, скажем, сейчас в каюту к ней уже не постучаться.

Тогда я подошел и стал поближе к ее окошку. Жалюзи были спущены, за ними еще — репсовая шторка: угадай, что там? А отсюда, от самого окна, через Енисей тянулась все та же живая, зыбкая дорожка. И мне по-

чему-то казалось теперь, что она идет не в горы, к Столбам, а наоборот, с гор протянулась сюда и о ней не скажешь, как не скажешь и о реке, что она течет в обе стороны.

Зимой на квартире Терских вечеринка молодежная собиралась. Маша пела «Позаастали стежки-дорожки». Красивая песня. Но грустная. Не понимаю, почему Маша пела ее. Сама-то она ведь никогда не грустит.

Скоро дадут первый гудок. Я подсчитывал как-то: за всю свою жизнь я проделал по Енисею больше чем шестьсот тысяч километров. Выходит, пятнадцать раз обогнал земной шар. Гудки своего парохода, на котором плывешь, за это время я слышал тоже, наверно, десять тысяч раз. А все равно, как загудит — в груди у тебя будто медный звон. Особенно, когда из Красноярска отваливает пароход. Чего тогда только нет в его гудке, в его голосе! Вроде и прощание с городом: «У-у-ухожу-у-у!..» А в первом — переклик с теми, кто провожает, остается и плачет: «Ни-чего-о-о! Перестань!..» Во втором — с пассажирами уговор, обещание: «По-ове-зу-у-у! Хорошо! Хорошо!..» В третьем — уже пароходской команде приказ: «Да-алеко-о-о! Вперед! Вперед! Вперед!..» Словом, молодец тот изобретатель, который нынешний басовитый гудок придумал, прямо живым сделал он пароход.

Так яостоял у Машиного окошка будто и недолго. Но дорожка из золотой постепенно стала серебряной, а потом — просто белой. Оказывается, начался рассвет.

Пискнул тоненький свисток, сигнал — смена вахты. И я побежал вниз, на свое место. Сейчас начнется посадка. Дизели уже работали, щелкали поршнями так, словно жевали серу.

Не знаю почему, но никуда так не лезут пассажиры, как на пароход. И вправду, после первого гудка сразу же началось, как вам сказать — «движение»... Передние вклинились в узкий проход и заткнули его, а задним ничего не видать. Ясно, сразу и шум и крики. Чемоданы полетели через головы и прямо по головам. На контроле у трапа стоять в такой момент — нужно матросов болтами к полу привертывать.

Но вот чудеса: гляжу, сквозь этот тугой поток, как

ледокол, прорезается мой Илья Шахворостов. Нагрузился вещами, шею напружиnil, голову вниз опустил и на разные голоса вечные свои прибаутки выкрикивает:

— Ой, дяденьки, тетеньки! Ой, бабочки, стрекозочки! Ой, упаду! Пропустите скорее женщину с ребенком...

И еще болтает какую-то несусветную чепуху. А сам протискивает сквозь народ мужчину в зеленом плаще.

— Костенька, друг, оказывается, тетя-то с мужем. Посади его рядом с ними.

И снова обратно в гущу. А чемоданы подкинул мне. Что делать? Вахта моя у трапов, но на контроле стоят другие матросы. Товарищу надо помочь. Заработал и я локтями. На посадке-то с этим никто не считается. Понятно, у всех цель одна: место занять поскорее. Но как ни злятся, как ни волнуются, отвалит пароход — сразу все станут друзьями.

Напарился я с чемоданами зеленого плаща здорово. От дизелей жарко. А от тесноты — в особенности. Но от чемоданов было жарче всего: тяжести они оказались невероятной. Даже для меня. Забежал я на минутку в умывальник, поплескал водой на голову и пошел опять на свое место.

Пробиваюсь к трапам, а у входа в машинное отделение, на самом бою — женщина, и с мальчиконкой на руках. Вещи к стенке сложила, стоит, а люди, идущие мимо, все время толкают ее. Она даже рукой в стенку уперлась, чтобы не свалили. А лицо у женщины такое безнадежное, будто попала она на теплоход ненароком и теперь не верит, что доедет до места. И тут почему-то вспомнились мне Машины слова: «Нам до всего должно быть дело».

— Гражданочка, — говорю я, — напрасно вы здесь остановились. Это самое плохое место. Перекресток. И от дизелей угарно, знойно. А вы с малышом.

— Откуда же я знала, где лучше? А теперь, конечно, все уже занято.

— Это верно. Но вы пока потерпите, я потом вас по-лучше все же устрою.

— Ох, вот за это спасибо тебе, молодой человек! — говорит. — А я в долгу тоже никак не останусь.

Отошел от нее и только тогда сообразил, что ведь это деньги она обещала. И стало мне сразу не по себе: вот как у нас привыкли еще понимать добрые намерения!

Тут двое мужчин меня спрашивают, как им в третий класс пройти. Видать, впервые на Енисее. Похоже — с юга. Смуглые, брови широкие, черные. Не привыкли, должно быть, ездить в такой тесноте.

— Сейчас никак не получится, — говорю, — пронесло вас мимо входа в третий. Ждите, когда склонят самый напор. Потом уж зайдете свои места.

Рассердились:

— Ну и беспорядки у вас! Хотя бы по радио повторяли, куда пассажирам идти.

— Насчет радио, — говорю, — я не знаю, почему оно молчит. По радио должны передавать музыку. А теснота не ради удовольствия. Судов не хватает. Край наш, стало быть, очень хороший, коли так много людей едет к нам. Станьте вот тут, а я пойду — вижу, еще какое-то происшествие.

Сцепились пассажиры узлами и весь проход перегородили. Ну, ничего, это бывает. Развел я руки, нажал на узлы, треснуло что-то, и снова пошло все как следует. А из глубины Вася Тетерев над головами людей рукой мне сигнализ. О чем — не пойму. Пробился к нему.

— Ты почему, Барбин, не был на месте при начале посадки?

— Нет, — говорю, — я все время на месте.

Приподнял палец Вася: ладно, мол. И тут нас опять растащили. Все-таки вскоре стало полегче. Самые нетерпеливые прохлынули, устроились. Реденькая цепочка пошла. Оборвалась и она. Потянулись уже одиночки. Так бывает летом: хватит шторм большой и вздыбят всю реку беляками. Потом враз оборвется, и волны все реже, реже, тише, ниже — и успокоятся. Только где-нибудь еще по Енисею отдельный белячок прокатится. Тоже, наверно, вроде иного пассажира — запоздавший.

Наконец дали и третий гудок, отвалили от пристани...

Люблю я, когда от Красноярска пароход вниз по течению разворот делает. Река огромная, а начнет пароход

дугу выгибать, и нет места ему, как игрушечному кораблику в блюдечке. Тут понтонный мост, вверх подайся — протаранишь его. Поперек реки пойдешь далеко — в остров носом врежешься или в баржи с лесом, которые всегда над островом на якорях стоят. Там, глядишь, снизу посудина какая-нибудь поднимается, не успеешь ходу набрать — понесет тебя боком. И от этого всегда дух немного захватывает, хотя и знаешь, что ничего не случится. Рулевые опытные. А к тому же — все эти опасности только обман зрения. Как и то, что вокруг тебя бегут берега. Светлый шпиль речного вокзала, голубой дебаркадер, потом музей, как пирамида египетская — только верх срезан, — потом черный понтонный мост и на нем без конца подводы, автомашины, велосипеды и люди; красные светофоры на высоких железных стойках; подальше — железнодорожный узорчатый мост и ущелье, из которого перед самым городом вырвался Енисей; и горы с Такмаком — скалой, которую приезжающие сразу принимают уже за Столбы, а под горами трубы заводов — считай не пересчитаешь, и четырехэтажные и шестиэтажные дома, и линия железной дороги, на которой всегда дымят поезда, а потом красивые крыши ангаров гидропорта и серебряные самолеты на поплавках, полосатая «колбаса» на мачте; горбатые красные краны в грузовом порту, сделанные на красноярских заводах, те самые, которые могут поднять паровоз, как котенка; потом здание электростанции, похожее больше на стеклянный утес, чем на дом; и уже в самом конце — сахарно-белые круглые баки нефтебазы, словно мороженщица повыдавила их из жестяной формочки. Вот что мы видим. А пароход все еще, как был, на месте, и все еще только разворот делает, дизели вхолостую работают. Ну, а как носом точно нацелится вниз, тут уже сразу команда в машинное — «полный вперед», и за кормой во весь Енисей ляжет узорчатая зеленая волна. Тогда только успевай считать повороты.

Да. Вот и теперь: помахали пассажиры прощально платочками, поплакали и утихомирились. Каждый нашел себе место. И никто уже не ссорится. Знакомятся, мирно беседуют.

Вспомнил я про женщину с мальчиком, отвел ее к

родственникам Ильи, посадил. Попросил: «Потеснитесь, граждане». Те пофыркали, но ничего — потеснились. А женщина поискала в сумочке, достала десятку, протягивает. Ожидал я, что так получится. Но и то обожгло меня: возьму — все равно что отниму. Ведь она же не капиталистка какая, а своим трудом десятку эту заработала. И конечно, не за пять минут. Пошел я, а она вслед за мной, прямо силой в руку бумажку сует. Втолкнула и убежала. А мне тем более это неловко, что на народе все происходит. Настиг я женщину у кипятильника, вернул деньги, сказал решительно: «Нет».

Начал проход подметать, после посадки там жуть что остается. С пассажирами пересмеиваюсь. Вдруг — Илья. И, как всегда, цап меня за рукав: «На минутку одну». Зашли мы в каюту. Он: «Давай тяпнем по сто граммов. Родичи угостили». Я отказываться: и вообще — я говорил уже — не очень-то люблю водку, а тем более — на вахте нахожусь. Но Илья твердит свое: «Подумаешь, сто граммов! Кто заметит? Первое свое плавание на этом корабле начинаешь. Не будь свиньей, Костя». Убедил. И даже не на сто, а на двести.

Вышел я, взял снова метлу, а внимания прежнего к работе нету, руки повисли. Ну, думаю, это, наверно, оттого, что я ночь сегодня не спал, так разморило. И еще: на пароходе жарища ужасная.

Бросил уборку, вышел на обнос...

Зеленые острова мимо бегут, на воде солнечные зайчики вспыхивают и вдруг, рядом с ними, дождиком острые искорки — упадут и потом медленно-медленно тонут. А струйки воды так и дрожат, дрожат. Близ самого теплохода скользит вместе с ним его тень, а на ней напечатана и еще одна — от моей головы. Енисей гладкий, тихий, ни ветерка, а вода все же не зеркало, и отражение моей головы все время меняется. То вытянется огурцом, то приплюснется, как репа, и тогда огромные уши по сторонам торчат, словно их кто изнутри выдавил. Увлекся я этой мультипликацией и совсем забыл, что с вахты еще не сменился. Стою. Вдруг рядом с тенью моей головы на воде другая такая же появляется. Поднимая глаза: девушка. В синем лыжном костюме с застежкой «молния». Косынка на плечи сползла, волосы русые,

расчесаны аккуратно, а на кончиках — тугими завитушками. Лицо вернее юноше подошло бы: сильное, резкое. Даже мелконочный-мелконочный пушок у нее на щеках. И брови густые, но, как и у меня, от солнца побелевшие. Видать по всему, купание, мороз и ветер любы ей. А при всем том остается и какая-то своя, тонкая девичья нежность в лице.

Не знаю с чего, а сразу кровь мне в голову бросилась. И стало неловко, что, наверно, вином от меня попахивает.

А девушка спрашивает:

- Товарищ матрос, вы давно по Енисею плаваете?
- Девятнадцатый год, — говорю.
- Ого!

Другая бы сразу решила, что тупые остроты я из себя выжимаю. А эта поверила, всерьез стала спрашивать, как можно в моем возрасте уже девятнадцать лет по реке плавать.

С этого у нас и разговор завязался. Между прочим, оказалось, что и зовут ее по-мужски — Александрой, Шурой, как раз к лицу имя. И не пассажирка на теплоходе, а служащая. Почтовый работник. Превосходная должность — в команду неходит, сама себе хозяйка.

— Хватит у отца на шее сидеть! У него и так есть, студентка, моя старшая сестра. А я вот и государству пользу уже приношу.

Мне очень понравились эти слова. Действительно, дело не в должности, а в том, что человек поступил на работу, не болтается, ожидая сам не зная чего. И почему-то сравнил с собой: вот и я тоже давно работаю. И тоже не студент, не с государства беру, а государству даю, можно сказать, с Шурой мы из одной глины сделаны. А она помолчала и спрашивает:

- Вы, наверно, плаваете здорово?
- Да ничего. Прилично. Мне перемахнуть Енисей — пустяки.
- А я вот не пробовала. Не с кем. Одной страшно. А за лодкой неинтересно.
- Давайте вместе поплыем!

— Ох, какой скорый! Вам, поди, и по уставу это не дозволяется?

— Ну, устав! Другое дело, что стоянки у теплохода короткие, и чем севернее поплыvем — тем вода холodнее.

— Ага! На Черном море компанию предлагаете?

— Зачем на Черном море? Вернемся в Красноярск...

Хороший такой разговор, веселый. Шура посмеиваеться, но совсем без ехидства. Положила локти на перила, бочком склонилась к воде и оттуда как бы из-под низу глазами сверлит меня.

— А вы скоро штурманом будете?

Вопрос неожиданный, совсем о другом. К чему она клонит? И я запнулся: как ей ответить?

Но тут появляется Вася Тетерев. Остановился по ту сторону Шуры, так что она оказалась между нами. Глядит на нее, а сам меня спрашивает:

— Барбин, куда ты опять потерялся? Безобразие!

— Не терялся я. Ну, вышел сюда на минутку одну.

— Хороша минутка! Полчаса целых ищу. И второй раз за одну вахту. Куда это годится?

Говорит Вася, будто штопор мне в сердце ввертывает. Шура веселым глазом косит на меня...

— Тетерев, ну, я сейчас... Сейчас... — а у самого уши горят, боюсь, кепка вспыхнет.

И хотя спокойно говорит Вася, не кричит, не распекает, но представляете все же, какое это удовольствие, когда при девушки тебе, пусть самым вежливым тоном, нарушителем дисциплины называют? Ясно: у Шуры такой портрет с меня теперь в памяти надолго останется. Попробуй потом переписать его другой краской! Первое впечатление — самое сильное. И действительно, вижу: снимает Шура локти с перил и отодвигается назад, к стенке. Меня это прямо в сердце ударило. Шагнул я к Тетереву и... как-то сильно дохнул на него. Он, конечно, сразу же уловил, в руку кашлянул:

— Вон оно что! Ну, тогда, Барбин, пойдем объясняться.

И повел меня за собой, как мальчишку. Бывало, так вот и Леньку с улицы я домой уводил, если он там чего набедит. Шура глазами проводила. Только рот, конечно,

не разинула. Даже, наоборот, плотнее губы сжала. Хорошо познакомились!

Объяснение с боцманом было короткое. Не понимаю, для чего он меня в каюту к себе уводил? Только сказать:

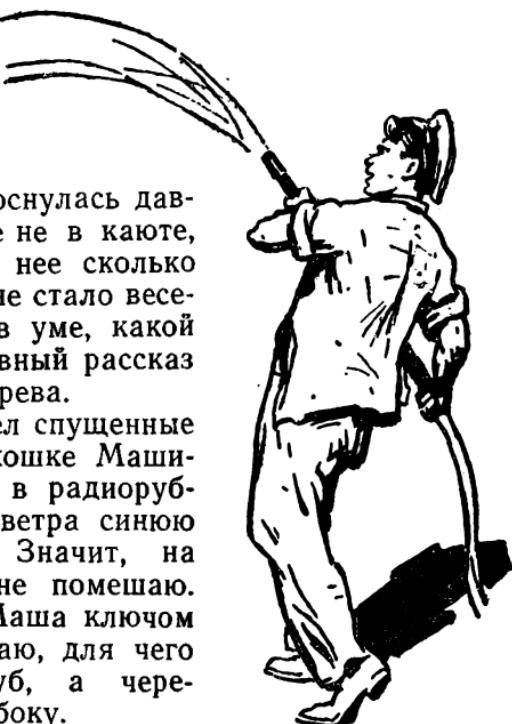
— Чтобы этого, Барбин, больше не было. Я думаю, ты этого больше себе не позволишь? Нельзя допускать такие вещи. Следовало об этом сообщить капитану. Я обязан был это сделать. Я бы мог это сделать. И на обсуждение в комсомольской организации мог бы вынести. Вот видишь, не надо до этого доводить.

Отпустил он меня. Какой-то дряблый был разговор. А все-таки сердце у меня будто в уксусе вымочили. Иду, и горькая-горькая обида берет на Васю Тетерева. Зачем он это при девушки начал? И вдруг мне подумалось: «А так тебе и надо! Почему тебе перед Шурой героем хотелось быть? Чтобы Маше отплатить за Столбы? А ты вот пойди лучше к ней и запросто, как прежде, как товарищ, поговори, расскажи, как ты свою навигацию на «Родине» начал».

Взял я швабру и пошел на верхнюю палубу. Маша, конечно, проснулась давно, пожалуй, сидит уже не в каюте, а в радиорубке. Вон у нее сколько своих помещений! И мне стало весело, когда я прикинул в уме, какой получится у меня забавный рассказ про выговор Васи Тетерева.

Еще издали я увидел спущенные желтые жалюзи на окошке Машиной каюты, а рядом, в радиорубке, — треплющуюся от ветра синюю репсовую занавеску. Значит, на работе. Ну, ничего, не помешаю. Не без перерыва же Маша ключом стучит. И сам я не знаю, для чего раскудлатил свой чуб, а черенок швабры прижал к боку.

Но, когда я подошел ближе,



я вдруг увидел в окне Леонида и уже за ним, в глубине, Машу. Леонид хохотал во все горло, и золотой зуб горел на солнце, пыхал огнем, как у дракона.

И тогда я размотал пожарный шланг, открыл кран на всю силу, ударили в палубу такой тугой струей, что брызги полетели вдоль всего теплохода, и мокрые пассажиры, как овцы, побежали на другой борт. А сам схватил швабру, давай крутить ею по палубе перед самой радиорубкой и захохотал так, как не хватило бы голосу и у десяти Леонидов.

Глава пятая

КАК Я ПЕРЕСТАЛ СМЕЯТЬСЯ

Бывает или нет с вами так: скажем, шлепнется на скользком тротуаре человек, а вы захохотеете? Со мной так бывает. И понимаешь: больно ему, а все-таки смеешься. Почему? Потому что в таких случаях героически и красиво человек не падает, всегда это у него получается по-дурацки.

Когда я увидел в окне Леонида, мне стало смешно не над ним, а над собой. Картина! Он сидит на мягким диване, выбритый, надушенный, в шелковой тонкой сорочке, а я в полосатой тельняшке, с раскудлаченным чубом и со шваброй, прижатой к боку, иду разговаривать с Машей. Иду под окно радиорубки, потому что нельзя же мне с мокрой шваброй ввалиться туда, где сплошь сияет линкруст, полировка и никель! А главное, что даже для разговора под окном и то я опоздал. Вроде бежал зимой по гололедице, торопился сесть на автобус, и вдруг у самой остановки — р-раз! — поскользнулся, упал, дрыгнул ножками, шапка с головы — под колеса, а машина пошла, вытолкнув назад мой набитый снегом и грязью треух. Смешно? По-моему, да.

Вот примерно с такого ощущения и тряхнул меня первый смех. Ну, а потом, когда нечаянно пассажиров из шланга я водой окатил, тут, конечно, и никто бы не вытерпел.

Как тогда отзывались на мой хохот Маша и Леонид и что вообще делал я до конца вахты — не помню. Случается, знаете, что так вот, либо глаза, либо уши, либо всю память сразу заложит. И кончено.

Ну, а дальше — сменился я. Илья спит, разметался на постели прямо в брюках, в куртке, даже ботинки не снял. Полез и я на свою койку, улегся. Под свежей простыней босым ногам отрада. Но тут заходит матрос. Высокий, малость горбатый, а шея с таким выгибом, что кажется, парень этот пятки свои разглядывает. Позже то я разобрался: смотрит он не вниз и не назад, а куда полагается, только из-за этого самого выгиба шеи взгляд у него получается исподлобья. Постоял, помолчал — спрашивает:

— Стало быть, это ты — Костя Барбин? Новый матрос?

— Да, Барбин, — говорю. — А матрос я не новый. Не первую навигацию плаваю. Вообще всю жизнь свою плаваю.

— Ну, я не отдел кадров. Мне твоя биография ни к чему. А на «Родине» ты новый матрос. Точность я люблю. Для ясности. Моя фамилия — Фигурнов. Можешь Петей, Петром звать. А на Петьку не откликаюсь. Тоже для ясности.

— Пожалуйста! Этого я и сам не люблю. Не мальчишки уже.

— Дело тут не в возрасте, а в характере. — Уселся Фигурнов на койку, винтом ко мне из-под низу шею вывернул. — Есть у нас матрос Мухин. Видел, может быть, — тонкий, длинный? Так его у нас прозвали Длинномухиным. Терпит, улыбается. Или вот верхний сосед мой, Марк Тумаркин. Этот даже любит, когда его наоборот, Тумарком Маркиным называют. Это ты тоже, для ясности, имей в виду. А теперь расскажи, чего ты успел уже нашкодить?

Понимаете: опять по тому же самому месту.

— Знаешь, Фигурнов, Петя, Петр, — говорю ему, — учи, тоже для ясности: с боцманом я уже объяснился, а два раза рассказывать об одном скучно.

— Правильно, матрос Барбин! Только о твоих подвигах и в рубке уже был разговор.

· Приподнялся я на локте:

— Какой разговор? У кого с кем?

— Скучно рассказывать, матрос Барбин.

— Ишь ты, запомнил, — говорю. — Заноза. Петя.

Петр, матрос Фигурнов.

— Да, запомнил. Характер такой. Для ясности.

Скинул он ботинки, одежду, лег к стене лицом и — точка, больше ни звука. Дескать, прочно обиделся.

А с меня и сон долой. Вот как: до большого начальства дело дошло! В самый первый день матрос Барбин уже отличился. Э-эх! А Вася Тетерев тоже хорош. Пообещал не докладывать капитану, а сам доложил. Втихомолку. Сказать мне об этом в открытую смелости у него не хватило. И чем больше я думал, тем черней и позорней казался поступок Тетерева. А своя вина казалась очень маленькой, а немножко погодя — даже никакой. И, когда мне стало окончательно ясно, что Вася Тетерев очернил перед капитаном хорошего матроса совсем незаслуженно, я не только что спать — лежать спокойно не мог. Надо было хоть с кем-нибудь, сейчас же, разделить бурлящий кипяток, которым я был налит теперь уже до самой пробы.

Только к кому пойти? С кем поделиться? Так, чтобы душа в душу. Вот ведь штука-то! И много людей, а не с кем. Незнакомые...

Илью разбудить? Выпить еще раз с ним можно. Это с ним всегда можно. А по душам не поговоришь. Нет ее у Ильи, вместо души — бутылка.

Растормошить Петю, Петра Фигурнова? Нельзя! Прежде чем с ним откровенничать, надо характер его разгадать. Как он сам заявил, «для ясности».

Отыскать Васю Тетерева? Это все равно, что послать жалобу тому, на кого жалуешься.

Маша? Вот Маша, конечно... Эх, если бы не Леонид! Только припомнить, как у него на солнце золотой зуб горел, когда он в радиорубке хохотал во все горло — дрожь берет. Он огнем этого зуба и Машу для меня словно спалил.

Нет никого. Нету... И горько-горько вдруг подумалось мне: да неужели я вовсе один?

Не может быть, чтобы один! Ну, а кто? Кто? И тут,

как спасательный круг, всплыла в памяти Шура, наш утренний, короткий совсем разговор. Короткий, а какой-то хороший, простой и веселый. Если не к ней, тогда действительно уже не к кому.

Шура меня встретила, точно давно ждала. У нее тоже своя каюта, как у Маши, только попроще, без линкруста и никеля, с круглым иллюминатором, и не на верхней, а на нижней палубе. Вся почта у нее при себе, каюта до потолка посылками завалена, только и осталось свободного места — койка, один стул и столик, на котором с локтями даже руки не помещаются, такой он узенький. Но, между прочим, поставить на него угощение место сыпалось. И угощение, прямо сказать, превосходное.

Сразу потек и разговор, опять легко, свободно, и я только подыскивал такие в нем повороты, чтобы всю свою накипевшую горечь изобразить посмешнее. Сами понимаете, кому приятно выставлять себя перед девушкой нытиком! А когда ты смеешься, подтруниваешь над собственной печалью, к тебе сочувствия всегда больше. Видно каждому — ты мужественный человек. И я хотела, как только мог.

Вдруг Шура перебивает меня:

— Костя, а на вахте тоже так дико вы хотели? Это оттого, что пассажиров из шланга холодной водой облили?

Попробуйте ответить на это, чистую правду сказать, когда я по-настоящему, может, только сейчас понял ее.

— Ну, ясно, — говорю, — от этого. Видели бы вы, как они сыпали по палубе!

Сам все смеюсь, хохочу. Улыбается и Шура.

— Знаете, Костя, мне тоже припомнился случай один. Просто комедия с Чарли Чаплиным. Была прошлый год я в доме отдыха. Ну, сидим в столовой. Как водится, все принаряженные. С нами за столом старичок один. Розовый, лысенький, в белом чесучовом костюме, любитель с девушками в фантики поиграть. Поэтому карманы у него вечно оттопыренные — набиты всякой всячиной. А сам ужасно вежливый: если подходит дама, он обязательно встает. И тут несет официантка на плече большущий фанерный поднос, а на нем тарелок двадцать с котлетами. Проходит эта девушка мимо нашего стола так,

что угол подноса оказывается как раз над головой старишка. А в это время с другой стороны к нему приближается знакомая женщина. Он встает, плещинкой из-под низу — стук! — в самый поднос, и всё оттуда, понимаете, летит кувырком на наши нарядные платья, и, конечно, тоже на чесучовый костюм старишка. Стоит он, бедный, выгребает из карманов пиджака котлеты вместе с соусом, гарнир кладет куда попало на скатерь, а сам спрашивает: «Это чья порция, товарищи?» Мне все волосы залепило зеленым горошком, а соус по шее потек куда-то туда... Правда, было очень смешно?

Хоть бы что-нибудь выговорить ей в ответ. Ничего не могу. Просто задыхаюсь от хохота, как представлю себе старишку с котлетами в кармане, зеленый горошек у Шуры на голове и соус, который по шее за платье течет.

— Ужасно смешно, — говорит Шура снова. — И я вас хорошо понимаю, Костя, почему вы так дико утром на вахте смеялись. Старишок-то ведь случайно опрокинул котлеты, а вы нарочно окатили пассажиров водой. Это всегда смешнее, когда нарочно.

Улыбается, конфетку протягивает. Но улыбка у нее сделалась сразу какая-то страшно холодная, как у японского дипломата барона Танаки — видел я в старой газете. И я чувствую, что теперь, в этот раз, мне уже ни за какие конфетки не рассказать конца того, с чем я сюда пришел. Будто держал я у себя на ладони мягкого, золотистого мотылька, а он вдруг полосатой осой обернулся. И, пока оса не ужалила, хочется ее поскорее стряхнуть. Я: «Ха! Ха-ха!» — и стих.

— Пора, — говорю, — до дому. Что-то очень долго я у вас засиделся. Пока!

Подала мне руку Шура, я пожал, отпустил, а она мою — держит.

— Костя, вы почаше ко мне заходите. Скучно, ужасно скучно одной. После обеда снова зайдете?

— Нет, не приду. После обеда Казачинский порог будет.

— Ох! Давайте вместе смотреть? Вы объяснять мне станете. Хорошо?

Танака с лица у нее исчез совершенно, опять глядит прежняя милая девушка и отпускать от себя не хочет.

Шагаю куда-то, об этом думаю, и не заметил, как на обносе я оказался на том самом месте, где первый раз с Шурой встретился. Стал я у перил, локти на них положил, наклонился, разглядываю на воде тень от своей головы, сплюснутую, как репа, с большими ушами и всю в огненных искорках. Вдруг, совсем как тогда, рядом с моей тенью тоже появляется тень другой головы. Шура! Поднимаю глаза... Нет — Вася Тетерев.

Ух, и злость же во мне забурлила! Ага, сам подошел... Ну, так, хотя ты и боцман, начальство, я тебе сейчас все в глаза вылеплю, всю свою обиду. Но Вася успел начать прежде:

— Куда ты все теряешься, Барбин? Едва нашел тебя. Я должен, Барбин, поговорить с тобой серьезно. Ты опять допустил нехороший проступок: облил пассажиров водой. Это очень нехорошо, Барбин. Это из ряда вон. Я должен был еще о первом твоем проступке доложить капитану. Я этого не сделал. Я думал, что ты поймешь. Я все еще думаю, что ты поймешь. А что я теперь должен делать? Ведь это уже подряд второй твой проступок! Я не хочу докладывать Ивану Демьянычу. Мне тяжело об этом докладывать Ивану Демьянычу. Я думаю, Барбин, ты все же поймешь...

И видно мне даже сквозь дымчатые Васины очки, какое опять у него в глазах страдание. И ясно, что капитану, конечно, он ничего не докладывал, мучился с этим делом куда больше, чем я. И оттого, что я так ошибся в злых своих думах о Тетереве, и оттого еще, что Вася, затрудняясь, какие выбрать ему слова, необидные для меня, но убедительные, стал попеременке часто кашлять то в одну, то в другую ладонь — меня взорвало прежним радостным смехом.

— Все понял я, Тетерев, — говорю, — и самое главное понял, что ты парень очень хороший.

— Да нет, ты мне-то не льсти. Ты для себя сделай выводы. Правильно все это пойми. Я очень хочу, чтобы ты **понял** и сделал правильные выводы.

— Сделаю, Тетерев. Обязательно сделаю. Слово тебе даю: теперь я всякое дело буду начинать не с начала, а с выводов.

Пошел я от него и все смеялся, смеялся. Но вдруг, как крапивой, что-то меня обожгло, и смех оборвался. Как я облил пассажиров водой, похоже, до капитана еще не дошло! Что будет, если и это дойдет? И еще, самое главное. Если не Вася рассказал капитану, что я на вахте пьяным был, так кто же тогда это сделал? Из матросов я никому на глаза не попадался, пассажирам до этой истории с водой вреда не причинил. Знали, что был я на вахте нетрезвый, как будто бы только четверо: Илья Шахвостов, Вася Тетерев, Шура... и я сам.

Глава шестая

КАЗАЧИНСКИЙ ПОРОГ

У нас все спали. Илья, как был, в ботинках, подкатился к самому краю постели, и руки у него свесились прямо до полу. Фигурнов лежал, уткнувшись головой в угол как-то так, что на подушке осталась только длинная шея. Сразу даже и не поймешь, не поверишь, что это шея, скорее — рукав дубленого полушибутка. А на верхней койке, над Фигурновым стало быть, против моей койки, теперь тоже спал матрос. Вы, конечно, уже смекнули — Тумарк Маркин.

К нашей обстановке он явно не подходил. Взять бы его вместе с постелью и перенести в пионерский лагерь, да не в простой, а в образцово-показательный. Лицо у Тумарка было вовсе детское, с коротким, острым носиком и с черной челочкой. Спал он на спине, точненько посередине койки, вытянув руки по швам. Поверх одеяла в ногах у него лежали аккуратненько свернутые брюки, куртка с надраенными пуговицами и форменная фуражка. Казалось бы, все это легко перемесить ногами — и я обязательно перемесил бы, — но, во-первых, видимо, Тумарк во сне не брыкался, а во-вторых, для этого и ноги у него были очень короткие.

Мне спать уже не хотелось. Но бывает, знаете, такое состояние, когда просто места себе не найдешь; слоня-

ешься из угла в угол. Так вот ждешь поезда на вокзале, когда он опаздывает, а в справочном бюро девушки огрызаются, не говорят, будут ли в продаже билеты. Так ждешь на экзаменах в школе, когда тебя вызовут, и прикидываешь — двойки все уже израсходованы или остались еще и на твою долю. Так зимой дома после работы слоняешься; когда Ленька за хлебом уйдет, и ты соображаешь — хлебать ли ши без хлеба или ждать, пока Ленька с друзьями своими в снежки наиграется. Но в этих всех случаях ясно знаешь причину — почему ты томишься. А тут?

Большой причины вроде нет никакой. Во всяком случае, разгадать ее невозможно. Кажется, сосет сердце просто разная мелочишко. И то, что действительно дважды нашкодил я. И то, что капитану об одной истории, выходит, уже стало известно, и то, что не могу я угадать, кто же все-таки насплетничал капитану. И даже то, как мы поговорили с Петей, Петром Фигурновым, и как мне улыбнулся Танака.

А теплоход плывет да плывет, и перед иллюминатором у меня бежит все одна и та же длинная кудрявая волна. Перечерчивает наискось весь Енисей и у берега вскипает пенистым прибоем.

Тут река стала малость поуже. С обеих сторон горы сбежались. Где-то там впереди и совсем запереть ей выход хотели. Да не смогли, прорубился Енисей через скалы, спрыгнул вниз. Вот и получился порог Казачинский.

Гляжу на волну, соображаю: вправо, влево будет еще поворот, а там и село Залив, последнее перед порогом. Вовсе немного осталось. Позвать мне или не позвать Шуру? Обещался...

Стук в дверь. И сердце у меня сразу, как льдинка, холодком куда-то вниз побежало: сама пришла, не дождалась. Открываю дверь — Маша. И у меня внутри, у сердца, обратное движение. Не только на прежнее место вернулось оно, но даже выше еще поднялось, так что перехватило дыхание. Понимаете, в мыслях сразу какая замена? А Маша как ни в чем не бывало:

— Костя, что же ты в гости меня не зовешь?

Это у меня получилось само:

— Потому и не зову, что к Косте в гости.

— Не поняла, — говорит Маша.

— А понимать и нечего. Просто рифмочка красивая.

— Совсем как-то странно, Костя, ты со мной разговариваешь, — пожала плечами, моргнула ресницами, словно что к ним прилипло.

Мне стало жаль Машу, потому что в глазах у нее заметил я большую обиду, наверно, такую же, какая была у меня, когда я в первый раз услышал про Леонида. И я заговорил по-другому, так, как раньше мы с ней не разговаривали. Позвал на верхнюю палубу, вместе полюбоваться на Казачинский порог.

Потихоньку подымаемся по внутренней лестнице. Вдруг Маша остановилась.

— Костя, а как-то не ладно у вас в каюте. Очень мне не понравилось.

Конечно! Поперек подушки, без головы и без плеч, — жилистая шея Фигурнова. Илья поверх одеяла в грязных ботинках лежит и руки у него пол подметают: А по всей каюте отработанной водочкой пахнет. Даже открытый иллюминатор не помогает. Чему тут понравиться!

— Не знаю, — говорю, — может, что и неладно. Не успел еще разобраться.

— Пьет Шахворостов. Ты бы, Костя, поговорил с ним. Как товарищ.

Хмыкнул я недоверчиво:

— Перевоспитать его должен, что ли?

А Маша серьезно:

— Вообще-то, Костя, мне слово «перевоспитать» тоже не нравится. Очень уже стало оно затертое, даже выговаривают его теперь с какой-то усмешечкой. Наверно, пора бы другим словом его заменить. Каким — не знаю. Сам поищи. Но нельзя же, Костя, тебе равнодушным быть к Шахворостову! Человек постепенно может вовсе испортиться. А разве тебе до этого дела нет?

Мне припомнился снова наш спор на Столбах.

— Ага! Как до Лепцова?

— Что? До какого Лепцова? А-а! Да, как до Лепцова. И даже больше. Ведь Шахворостов — издавна товарищ твой.

— Не отказываюсь: товарищ он, конечно, товарищ.



Мне припомнился снова наш спор на Столбах.

Но отвечать должен все-таки каждый сам за себя. Ты, Маша, его на меня не навешивай. Для меня он шибко тяжелый.

Засмеялся, я, засмеялась и Маша. Потому что, если прямо понимать, на меня и трех таких можно свободно навесить — унесу, не согнусь. Ну, а если, как говорится, в переносном смысле — это значило, что я себя характером слабее Ильи считаю. Словом, так и так получалось смешно, потому что любое мало походило на правду. Но Маша спорить не стала, уклончиво как-то повела плечами, кинула быстрый взгляд на меня и замолчала. А я вдруг подумал: только ли о Шахвостове это был разговор?

На палубе народ стоял уже стена стеной. Протиснуться вперед, к перилам, никак невозможно. И Маша спросила: «Костя, не лучше ли нам подняться на капитанский мостик?» Вы, наверно, знаете сами — пассажирам туда вход воспрещен. А из команды, по надобности, пожалуйста, всякий заходи. Тем более, на Казачинский порог посмотреть. Но я отказался пойти на мостик. Сказал: «Интереснее здесь послушать, что будет о пороге народ говорить. Многие по Енисею плывут впервые». А на самом деле боялся я, не хотел лезть на глаза капитану, пока он сам не вызовет. И еще: знал я твердо, что на мостике будет стоять Леонид.

«Родина» в это время проплывала как раз мимо Залива. Теплоход дал три длинных гудка, и пассажиры стали спрашивать друг друга, что это значит, и смотреть на полосатый столб, на котором висел деревянный



черный цилиндр и ярко-красный треугольник, а на соседнем столбе — набор из шаров и квадратиков и еще — косой черный крест.

Некоторые женщины очень встревожились, потому что и черный и красный цвет всегда как-то пугают пассажиров, особенно на железной дороге. А крест понятен всяко-му только так: остановись сию же минуту, не то погиб-нешь.

И как же было не объяснить:

— Гражданочки, не тревожьтесь! Полосатый столб — семафор. Черный цилиндр вверху, а красный конус внизу означают, что порог открыт для прохода судов только сверху. То есть для нас. Если же и снизу какой-нибудь пароход к порогу сейчас приближается, тому — погоди, в узком горле двоим не разминуться. Набор из квадратиков и шаров показывает глубину переката в самом мелком месте, а крест — спокойно вали через порог на судне любой осадки, хватит воды! Ну, три гудка — это проще простого: берегу сигнал подан: видим, поняли, идем не останавливаясь.

Хотел я тут же объяснить женщинам еще и относи-тельно бакенов и вех — как понимать эти речные зна-ки, — вдруг за спиной у меня голос. Вроде бы чуточку ленивый, небрежный, но, между прочим, прожигающий до костей:

— Константин, кажется, публичную лекцию читает?

Если бы я не написал, чей это голос, вы все равно, наверно, бы поняли? И меня тогда интересует: вот вы на эти слова как ответили бы? Я ответил Леониду совсем по секрету, на ушко, но такое, что его черные усики за-дергались, как у таракана. Однако вслух он все же ска-зал: «Не оригинально». Взял Машу под руку:

— Пойдемте на мостик, оттуда будет виднее. Констан-тин, прошу составить компанию.

И Маша прибавила:

— Пойдем, Костя.

Опять не знаю, как поступили бы вы, но я не пошел за ними, гордо остался на палубе. Грубить даже больше не стал Леониду. Наоборот, прищурился весело: «Нет, я тут лекцию дочитать должен».

Кто-то из женщин действительно стал просить: «Ма-

тросик, а ты расскажи нам еще про то...» И я им рассказывал и «про то и про это». Складно рассказывал. Во всяком случае, слушали меня со вниманием, вроде маленькой толпы вокруг меня собралось. А это всегда еще разжигает рассказчика, особенно когда ему забить, заглушить в себе досаду какую-то хочется.

Сперва про бакены разъяснил: стоит белый бакен — не ходи ближе его к левому берегу, стоит красный — не ходи ближе бакена к правому берегу. Потом про створы:

— Видите, гражданочки, на берегах белые щиты с черной полоской посередине? Стоят по два — один немного позади и повыше другого. Когда пароходу следует перевалить по фарватеру, допустим, от правого берега к левому, или от левого к правому, рулевой держит так, чтобы черные полосы на этих створах-щитах сошлись как раз в одну линию. Тогда прямо по ней и гони свое судно, пока новые створы другое направление тебе не покажут. Ясно?

Увлекся я. А течение быстрое, утесы перед глазами так и мелькают. Река сузилась еще больше. Горы — все круче, выше, заросли сплошь густой зеленой тайгой. Косые волны от кормы тянут за собой буруны теперь уже по обоим берегам. Шумят они, скачут по гальке, трясут таловые кустики, смывают в реку обратно выброшенные половодьем бревна. Загудит теплоход, и гулкое эхо долго катится по горам, дробится в ущельях. Всё затихнет, а потом вдруг опять отзовется.

Новички на Енисее здесь обязательно ахают: «Какая могучая природа!» А ты себе потихоньку над ними посмеиваешься: «Погодите, что будет дальше, когда мимо устья Ангары, мимо Корабликов поплыvем!»

Но вообще-то, скажу я вам, и здесь место красоты действительно самой редкой. Про такую красоту в народе правильно говорят: «Ни в сказке сказать, ни пером описать». Я тоже так считаю — посмотреть своими глазами нужно. Только имейте в виду: посмотрит приезжий один раз на наш Енисей, и — кончено! — присосет, присущит он его навеки. Это уже проверено. Пробовали: присущенные им уезжали и в Москву, в Киев, на озеро

Селигер и на Черное море, в самые кипарисы, виноградники и пальмовые рощи, а потом все равно возвращались обратно. Потому что, помимо красоты, Енисей в себе еще силу огромную имеет. И эта сила, не знаю уж каким путем, а в человека частицей своей тоже вливается, делает и его таким же могучим. Вот и хочется каждому плечи свои развернуть, вот и едут люди на Енисей поэтому.

Все меня слушают, притихли. Вдруг открылся порог впереди.

— Вот он, товарищи!

А у кого-то еще и сомнение: «Где? Не вижу. Река как река».

Ясно: река, а не степь! Но только прежде была она зеркалом, а сейчас впереди нас на этой глади словно бы комочки снега забелели. Всплывают и тонут, всплывают и тонут. А комочки-то — пена на гребнях валов. Да таких валов, что дохленький там катер или маленькую баржонку, повернувшись они чуточку боком, сейчас же вверх дном перевернет. И любой, и самый крепкий пароход, между прочим, в Казачинском пороге тоже поскривывает.

Енисей здесь немного вроде бы и раздался, но ширина эта обманчива. К правому берегу частые камни. Пены в них кипит больше всего. Туда угоди пароход — сядет на мель прежде еще, чем до страшной этой кипени доберется. Ближе к средине реки остров. Впереди него черные глыбы таращатся из воды. Вот тут дело может сложиться и похуже. Течение сильное, тащит прямо на эти глыбы. От них вода круто падает влево. А там как раз «ходовая», фарватер. И оттого, что там, на самом перепаде, сшибаются две такие силы, представляете, какая высокая и тугая вздымается кверху волна! Мало того. Не успеет вся эта штука куда-то свалиться, перед ней встает «бык», утес, каменная стена. И тогда река бросается вправо — значит, снова волна на волну нахлестывается. Вот на маленьком судне и разберись, какая из них злее всего может в борта поддать, когда все волны, по сути, здесь боковые.

— Однажды был случай такой, — рассказываю пассажирам: — заклинились у парохода рули над самым поро-

гом. Ни раньше, ни позже. Ну, с ходу, по прямой, он и влетел как раз на срединные камни. Будто торпедой весь корпус ему разворотило. Вода хлынула в трюм. И хорошо еще, что зацепился он на камнях, не сорвало его и не вынесло дальше. А то быть бы ему в самой пучине на дне. Вот он какой, наш Енисей, и какой этот порог Казачинский!

Тут сразу заговорили с разных сторон:

— Да-а, оказывается, и верно, не шутка.
— Днепровские тоже сильные были пороги.
— Куда Днепровским! Енисей-то сам в десять раз посильнее Днепра.

— Не в десять, а в двадцать.

А я разошелся вовсю, продолжаю:

— Снизу, против течения, здесь ведь редкое судно своим ходом может подняться. Дойдет до «слива», где вода круче всего падает, и будет на месте ворочать винтами, хоть всю навигацию, пока туер не вытащит. А туер — это пароход, только на привязи, на толстом стальном канате. Один конец троса выше порога заделан, ко дну Енисея прикован, на самой средине реки, а другой конец прикреплен к лебедке на туере. Лебедка работает, трос на барабан наматывает, и туер, хочешь не хочешь, тоже подтягивается. Ну, ясно, и слабосильное судно на буксире за собой тащит. Вот как у нас! Но «Родина», товарищи, между прочим, своим ходом подымается через порог. По вершку, по вершку, а выходит. Э-эх, и люблю же я это mestечко!

А справа и слева уже кипят буруны в камнях. Видно, как на повороте реки ходят, сшибаются тяжелые зеленые волны. Красота и жуть!

Вот если в легкой лодочке сюда угодить. Или просто вплавь человеку... Прикинул в уме: я, например, выплыну?

Волны шумят за бортом. Как-то неровно стали работать винты, то словно бы замрут вовсе, то вдруг забьются в частой дрожи.

Слышу, как раз говорят:

— Упали здесь с парохода человек — и поминай как звали.

— Куда тут! Захлестнет волной.

— Либо о камни.
— Сразу на дно. И пузырь не увидишь.
Сам не знаю, что дернуло меня за язык:
— Ничего не на дно, — говорю. — Кто как, а я выплычу.

И, вместо того чтобы любоваться порогом, завязался между мной и пассажирами глупый спор. Глупый потому, что доказать правоту свою все равно я не мог. Не прыгнешь ведь в воду! Так и так тогда матросу конец. Утонешь. А и выплыешь — сразу же спишут тебя с корабля.

Но отступать от своих слов мне тоже никак не хотелось. Понимаете: самолюбие. Азарт захватил. И к тому же мелькала тонкая, тайная мысль, дразнила меня еще больше: пусть с мостика Маша с Леонидом поглядят, как я «саженками» начну по волнам отмахиваться.

Не знаю, прыгнул бы я в порог или нет. Наверно, все-таки, не прыгнул бы. Но воротник на рубашке для чего-то я расстегнул.

И тут увидел Шуру. С горящим от восторга, прямо пылающим взглядом. Кольнуло в сердце меня: обманул, не зашел за ней. Получилось — пренебрег. А она не обиделась.

И я рванул пряжку ремня. Другой рукой схватился за железную стойку тента. Зачем? Кто его знает! Но сверху мне крикнули в рупор:

— Барбин, к капитану!

Глава седьмая

НАШ КАПИТАН

О нем нельзя не рассказать. Во-первых, потому, что капитан первое лицо на любом корабле, а во-вторых, чтобы вы знали сразу, почему я так боялся своего капитана.

Конечно, была у него и фамилия. Только по фамилии писался он, может быть, в ведомостях на зарплату да

еще в указах правительства, когда его орденами награждали. А так, среди речников на всем Енисее, он не иначе — Иван Демьяныч. И нет такого у нас человека, который не слыхал бы про Ивана Демьяныча.

Описывать его биографию я не стану. Да никто ее, кроме отдела кадров, пожалуй, в точности и не знает. А в народе вокруг нашего капитана помаленьку складываются легенды. Не такие, как о Чапаеве, военных подвигов у Ивана Демьяныча не было — складываются легенды про его капитанскую сметливость, удивительное знание реки и еще про особенную справедливость и строгость. Такое рассказывают, что, бывает, и не поймешь, где правда чистая, а где крепко подкрашенная.

Что Ивану Демьянычу нет еще и шестидесяти лет, а исплавал он по Енисею около двух миллионов километров, сделал по меньшей мере пятьсот рейсов на север — это, думаю, чистая правда. А вот, что Иван Демьяныч может без бакенов ночью в самое злое мелководье плыть и что в тумане все глубины реки, отмели и берега он как-то кожей чувствует — это, пожалуй, прикрашено. Хотя и верно, что аварий у Ивана Демьяныча, при его вахте, ни разу еще не было.

Что первым, на хлипком купеческом пароходике, на дровах, Иван Демьяныч в самые низовья Енисея ходил и даже в Карское море за остров Диксон — верю, чистая правда. А что тогда еще он показал, где быть городам Игарке и Дудинке — это, конечно, прибавили. Никто таким пророком по тем временам быть не мог. Зачем все одному человеку приписывать?

Что Иван Демьяныч кричать на матросов не любил, а ругаться тройным морским не умел вовсе — факт. Но что зря он никого не наказывал — трудно верится. Всякий человек обязательно ошибается. Будь Иван Демьяныч хоть какой проницательности, все равно он не рентгеновский аппарат, да еще такой, чтобы душу человеческую насквозь просвечивать. По-моему, и от нашего капитана доставалось кой-кому на орехи совсем ни за что. А такая уж сложилась слава за ним. Жаловаться и не пробуй. Сам начальник пароходства никогда не отменит его решения. Только посмеется: «Ага! Всыпал, гово-

ришь, Иван Демьяныч? Значит, справедливо. Хочешь, могу еще прибавить. А меньше — ни-ни».

Теперь представляете, с какой думой всегда идет на вызов нашего капитана матрос, который, как в поговорке — «знает кошка, чье мясо съела».

А выглядел вообще-то Иван Демьяныч вовсе не страшным. У других капитанов бывают брови нахмуренные, кустоватые, или морщины у рта глубокие, резкие, или голос скрипучий, въедливый, от которого у тебя, как от гвоздя по стеклу, мурашками челюсти сводит. У Ивана Демьяныча в лице все было самое обыкновенное. Ходил среди речников такой разговор. Заказали его портрет для музея. Поглядели на капитана художники и давай отказываться. Застонали все: «Не написать! Понимаете: не за что ухватиться. Нос бы длинный или губы толстые! Хоть какую-нибудь особую примету имел бы он». Правда, один художник нашел-таки: родинку на правой щеке. А закончил портрет, сдал в музей — родинка у Ивана Демьяныча исчезла. Оказывается, он прыщик после бритья черной тушью замазывал. Прыщик засох, смыл и тушь Иван Демьяныч. Родинка только на портрете осталась.

К его годам и располнеть было бы можно. Во всяком случае, не грех носить воротничок, к примеру, номер сорок три. Но у Ивана Демьяныча шея всю жизнь была точно тридцать восьмого размера, и это при росте сто семьдесят четыре сантиметра. Откуда я знаю? Да об этом все речники Енисея знают!

Непонятно, что делал со своими брюками Иван Демьяныч. Они выцветали, старели, а не мялись. И складочки на них держались острые и тонкие, как от портного. Может, он сам утюжил их каждый день или на ночь клал под матрас — не знаю, но в судовую прачечную гладить брюки свои капитан ни разу не отдавал. Это тоже всем известно.

Погоды для него никакой не существовало: ни зноя, ни холода. На плечах у Ивана Демьяныча постоянно: в каюте — китель, на вахте — дождевик. Июльская жара в сорок градусов или свирепый северный ветер с мокрым снегом в конце октября, все едино — китель, либо дождевик.

К этому можно прибавить только то, что водки Иван Демьяныч в рот не брал, но пивко потягивал, если оно не бочечное, а бутылочное.

Вот при такой обстановке и подымаюсь я на мостик. Судно подрагивает, скрипит, а у меня чувство такое, словно что-то внутри меня скрипит.

Вошел в рубку. Иван Демьяныч стоит, глаз с реки не сводит, а пальцами рулевому все время делает знаки: «Туда чуть-чуть, сюда чуть-чуть...»

Тут же и оба штурмана. Вася Тетерев. А снаружи рубки — Маша с Леонидом. Но как раз у окна. У Леонида в руке капитанский бинокль. А на лице напечатано: я на «Родине» такой же хозяин, как и мой отец. И еще вроде бы другой оттеночек: «Подумаешь, порог, волны... Хаживали мы в открытом океане не по таким волнам!»

И хотя весь Енисей впереди словно бы плавился от солнечных лучей, а в открытое окно рубки втекал теплый душистый воздух с тоненькой пыльцой цветущей сосны — мне было как-то зябко оттого, что придется разговаривать с Иваном Демьянычем как виноватому. Слушать нас будут все.

Маша, наверно, потупится, а Леонид станет подкручивать свои черные усыки. Эх, побывать бы хоть раз мне на его крейсере в такой момент, когда командир крейсера ему делает выговор! Вот уж покрутил бы тогда свой чуб и я!

На речных пароходах не тянутся перед капитаном. Вошел в рубку — и все. Но я нарочно развернулся по полной форме, как не развернуться иному моряку. Знай наших!

— Разрешите обратиться, товарищ капитан, — говорю. — Матрос Барбин явился по вашему вызову.

Иван Демьяныч глянул мельком: «Рубашку застегни». Действительно, вовсе забыл я, что ворот у меня нараспашку. Вот так развернулся перед капитаном!

Поправил пуговицы. Стою. И чувствую: ядовитая такая струйка пота ползет у меня под рубашкой по спине по самому желобку. И тут припомнился мне по какой-то схожести Шурин рассказ про котлеты с соусом. Не знаю, случается ли с вами, когда вы в самую страшную минуту засмеяться можете? Со мной случается. Помню, маль-

чишка еще — драла меня мать ремнем. Больно! Орал я тогда на совесть, из души рвался крик. Но вот размахнулась мать один раз как-то неловко, сама себя ремнем щелкнула, тихонечко ойкнула. И представьте, сколько потом она ни лепила мне в самые растревоженные места — я уже хохотал, как от легкой щекотки. Вот и сейчас накатился такой смех. Давлю его, а он все равно из меня прыскает.

Иван Демьяныч рубку глазами обвел, проверил каждого человека. Пальцем почесал подбородок. Спрашивает:

- Стало быть, очень смешно?
- Очень смешно, — говорю.
- Чего же тебе смешно?
- Не знаю, Иван Демьяныч.
- Н-да...

И замолчал. Тишина. Только слышно, как по обеим сторонам теплохода рушатся волны. Самое горло порога проходим. У берега туер «Ангара» стоит, дымок над трубой у него курится, люди чего-то кричат, повариха из кухни высунулась вся в муке. Лицо у нашего рулевого точно окаменело, на руках жилы вздулись. Не оттого, что тяжело ему штурвал поворачивать, а просто очень крепко стиснул он пальцы свои. Да и все остальные тоже будто не дышат, как охотники, когда крупную дичь на мушку ловят.

Потом «Родина» сразу словно бы в масло вошла. Ни дрожи корпуса, ни шума волн, и даже в рубке вроде светлее стало. Все! Опасному месту конец.

Иван Демьяныч ко мне повернулся. Глядел, глядел, наконец, спрашивает:

- Барбин, ты на вахте был пьяный?

Вот когда началось настояще.

— Нет, — говорю. — То есть да, но не очень. Все обязанности свои я исполнял как следует.

— А обливать пассажиров водой — тоже входит в обязанности вахтенного матроса?

Оказывается, ему уже известно и это.

- Рука сорвалась...

— Почему же тогда ты хохотал над ними? Это ведь оскорбительно для людей.

— Да тогда... Да это... Ну вот, как сейчас вырвалось... Это я над собой смеялся, Иван Демьяныч.

— Смеешься над собой, а водой из шланга поливаешь людей. Интересно, Барбин, получается.

Вздох какой-то у меня ни с того ни с сего вылетел:

— Вообще-то, конечно, интересно.

Имел я тут в виду вовсе другое: интересно, дескать, как оно по-глупому, хотя и не нарочно, все сложилось тогда. А вышло так: было интересно, вроде кинокомедии. Но сам я в тот момент не уловил такого значения слов своих, а только увидел, как сразу похолодели глаза у Ивана Демьяныча. И еще — как блеснул на солнце золотой зуб Леонида.

А капитан опять помолчал, опять о чем-то подумал.

— Та-ак, Барбин, а с какой стати у тебя сейчас ворот расстегнут?

Забыл с утра застегнуть. Или, наоборот, — от жары распахнулся. Какую причину не назови, беды нет — это не злое нарушение устава, расстегнутый ворот. В крайнем случае — только неряшество. Васе Тетереву я так и отрезал бы. Пожалуй, даже и любому штурману. Но Ивану Демьянычу это не скажешь. Он сам все знает. Надо начистоту.

— Прыгнуть в порог хотел, — говорю.

— Так чего же не прыгнул? — И вовсе заледенели глаза у Ивана Демьяныча.

Вы бы на это ответили? Я — нет. Ответил сам Иван Демьяныч:

— Похвастаться просто хотел. Блеснуть своим геройством.

И тут возражать я не стал капитану. Так ведь оно и было. Какие оправдания ни подбирай, но, понятно, хвастовство поверх всего выпирало. Прикидываю в уме: за три провинности подряд, какое сейчас влепит он мне наказание...

Но Иван Демьяныч не кончил, оказывается.

— А деньги, Барбин, которые ты получил с пассажиров, как взятку, придется тебе полностью в кассу сдать.

Словно полыни я пожевал, так во рту стало горько. Я взятки брал с пассажиров? Зачем же еще и такое валил на меня? Не выдержал я, закричал:

— Да кто вам сказал, Иван Демьяныч!

— «Кто сказал»... Виши, чего ты раньше всего спрашивала. Выходит, сам подтвердил, что рыльце в пушку. Нашлись люди. А кто — тебе знать необязательно. Поди и сдай деньги. Скажешь кассирше: капитан велел принять по квитанции разных сборов.

— Ну, не брал же я, не брал никаких взяток, Иван Демьяныч! Честное комсомольское! Совала мне одна женщина в руки десятку, так и ту я не взял, вернулся ей.

Говорю, точно в стену лбом стучу. Слышал я немало, как припечатывает свои справедливые решения наш капитан. Только где же сейчас правда, где его справедливость? Все он знает, в тумане глубину реки кожей чувствует, а тут вон какую небылицу возвел на меня.

Стою ошеломленный, и почему-то кажется мне, что Иван Демьяныч глазом на Леонида косит. А тот погасил свой огненный зуб, больше не улыбается. Маша совсем побежела. И вообще картина такая, будто наш теплоход сел на камни, а у руля в это время стоял матрос Костя Барбин.

Прошло не знаю сколько времени. В книгах я читал, пишут: «прошла целая вечность». Ну, примерно, так и у меня. И вдруг капитан говорит:

— Хорошо, Барбин. Если даешь комсомольское слово, буду еще выяснить. Но помни: комсомольцы честное слово на ветер никогда не бросают. Иди.

Спускался я вниз на деревянных ногах. За мной шел Вася Тетерев и все повторял: «Вот видишь, Барбин, как нехорошо получилось. Я говорил тебе. Я не знаю, Барбин, как теперь поступить. Мне очень не хочется выносить это на комсомольское собрание. Я попробую поговорить еще с капитаном. Я непременно поговорю, Барбин». Слушать его мне совсем не хотелось. Мне хотелось знать: кому я должен буду оторвать уши за злой поклеп на меня.

Глава восьмая

ЛЕГЧЕ ЛИ СТАЛО?

Ночью мы проплыли устье Ангары. «Родина» прошла мимо, не останавливаясь у пристани. И я только издали видел цепочку золотых огней на Стрелковском рейде, где лучшую в мире ангарскую древесину, сплавленную издалека в плотах, сводят совсем уж в огромные караваны и тащат потом на буксире полторы тысячи километров до самой Игарки или даже Дудинки. Днем здесь можно было бы полюбоваться на белые скалы и нежно-зеленую ангарскую воду. Ночь, хотя была и не темная, но все-таки ночь. И Ангара в этот раз мне радости не принесла.

Вскоре проплыли мы и Енисейск. Старинный город, даже старше самого Красноярска. В давние времена шумел он, столицей приискателей был. Говорят, в нем от тех времен зарыто столько кладов, что, если все дома и другие постройки сжечь, а потом пепел и землю перекопать глубоко, за найденное золото можно будет вдвое лучший город отгрохать.

На Енисейск я даже не взглянул. Перед городом как раз отстоял свою вторую вахту и спустился в каюту. Мог бы спать. Но я не спал, по сути дела — вторые сутки. Илья, опять в ботинках, хралел внизу, а я лежал и слушал эту музыку. Одолевали мысли, а какие — вы уже знаете. Так туго набились в голову, что она даже болеть начала у меня. Пробовал я найти одну, самую главную мысль, чтобы на ней и остановиться. Но от этого только прибавилась ко всем мыслям еще одна новая мысль — как найти самую главную?

Так я остаток ночи с боку на бок и проворчался. А уснул, уже когда солнце взошло.

Разбудил меня Тетерев:

— Ты спиши, Барбин?

Толковый вопрос!

— Сплю, — говорю. — И во сне тебя вижу.

— Ну, это не во сне. Ты проснулся уже. — Ни сам пошутить, ни рассердиться на ядовитую шутку Вася у



нас не умел. — А я пришел, Барбин, тебя порадовать. С капитаном я договорился. Только это строго между нами. Взысканий на тебя он не будет накладывать. Проработаем на комсомольском собрании. Вот видишь, как хорошо получается!

Сел я на койку, ноги свесил и соображаю: какими словами мне покрепче его оскорбить? Чтобы насквозь прошло. А он, между тем, свое:

— Я думаю, Барбин, в учетную карточку вы-

говор мы тебе не запишем. И в протоколе собрания тоже сформулируем как-нибудь помягче. Я не хочу строгих формулировок. А приказа капитана вовсе не будет. Здорово?

Гляжу на его пухлые губы, на щеки подушечками, и злость во мне гаснет. Потому что цели в злости нет никакой. Ударь я Васю Тетерева сейчас самыми обидными словами, все одно получится так, будто я сплеча рубанул топором тюк ваты. Топор отскочит, а на вате даже следа не останется.

— Да, это здорово, — говорю. — Ну, а за что же будут на собрании меня прорабатывать?

— То есть как? Я думаю, за все в целом.

— И за взятку?

— Вот этого, Барбин, я не знаю. Как перед собранием Иван Демьяныч решит. А пока, ты же слышал, хочет он разобраться.

— Если в целом, так пусть меня и за взятку прорабатывают. Иначе я и на собрание не приду.

Тетерев даже очки снял, совсем растерялся, вместо ладошки стал на стеклышики покашливать.

— Я тебя понимаю, Барбин. Если в этом, действительно, ты невиновный, тебе публично хочется снять с

себя подозрения. Но ты неправ. Нельзя так ставить вопрос, пока Иван Демьяныч не разобрался.

— Тогда и о собрании сейчас нельзя ставить вопрос!

— Так это же, Барбин, в принципе. А какие именно твои проступки придется обсуждать — уточним позднее, ближе к собранию. Ты ведь не можешь отрицать, что в принципе проработать тебя мы обязаны.

Спорили, спорили, но Тетерев остался на своем. Обрадовался, когда я, наконец, замолчал: «Вот видишь, Барбин!» Пошел было к двери, и вдруг снова вернулся:

— Да, вовсе забыл! Ты ведь у нас на «Родине» новый, массовой работой еще не охваченный. Надо куда-нибудь тебя записать, Барбин. Куда?

Смех и грех! Говорю ему:

— Сперва проработайте на собрании, а тогда уже запишешь. По результатам.

Вася покашлял в ладонь:

— Нет, Барбин. Я думаю, одно другому не мешает. Даже лучше будет, если ты уже до собрания включишься в общественную работу. Понимаешь? Благоприятнее прозвучит характеристика.

Махнул я рукой: «Ну ладно, записывай. А куда — мне все равно».

Вася блокнот полистал.

— Выбор вообще-то у нас небольшой. Давай я тебя пока в самодеятельность. Где-нибудь в рейсе вечер провести мы задумали.

— В самодеятельность так в самодеятельность. Только талантов у меня нет никаких. — Поглядел я вниз, на хрюящего Илью. — А он записался?

— Как же! В струнном квартете на балалайке играет. Хочешь?



— Нет, — говорю, — это не по моей силе. Я у балалайки сразу все струны оборву.

— Ну стихотворение продекламируешь.

— Ладно, записывай.

Ушел Вася. На душе у меня постепенно полегчало, всегдашняя веселость вернулась. Спрятал я вниз, содрал с Ильи ботинки, вспомнилось, как Маша мне за него выговаривала — Илья, между прочим, и не проснулся, — и отправился я в душевую холодной водой плескаться. Остатки кислого настроения смывать. А потом — на палубу, на ветерок. Хорошо после душа пупырышками кожу стягивает!

А день веселится, играет. Чудеса! Что небо, что вода в реке — одинаково голубые. Даже трудно понять: небо в воде отражается или Енисей голубой в небе.

Тут, на этих плесах, в разгаре лета близ берегов водится очень много «поденки», маленьких мотыльков. Всей жизни им — один день, потому и поденками зовутся. Крылышки у них такие прозрачные, будто из тонких листочек стекла. Но почему-то страшно липучие. Сядет на щеку и сразу приклепится. Сбросишь ее, проведешь по щеке — сухо, а впечатление такое, что была она мокрая. И долго еще потом чувствуется то место, где поденка сидела. Этих мотыльков перед вечером, если плыть в лодке близ берега, носится в воздухе столько, сколько снежинок в самую злую пургу. Полная картина: зима наступила. Всего тебя и всю лодку залипят. Миллионы миллионов сверх того в Енисей валятся, серой пленкой воду затягивают, а лодка в ней след оставляет.

Как далеко ни идет наш теплоход от берега, а поденки залетают даже сюда. И вот все пассажиры лупят себя по щекам. Лупят потому, что поденок этих всегда не просто стряхнуть поскорее, а именно сбить хочется. Такие они неприятные.

Стал и я у перил, нахлестываю себя по лицу. Поглядываю на острова — их на Енисее хватает, — на зеленые луга по берегам. За лугами в подъем идут леса. Сперва светлые березняки, потом исчерна-зеленые пихтачи и ельники, стало быть, болота потянулись, а за болотами — синяя тайга, чем дальше, тем она голубее, по-

ка с небом, как и Енисей, в одно не сольется. И хотя знаешь заранее, что там, посреди тайги, тоже ручьи и реки текут, и поселки, деревни есть, и вообще нет ничего человеку не известного, вся местность на карты нанесена, а глядишь, и кажется тебе: в голубое небо вверх без конца лети или по этой голубой тайге иди — тоже никогда ей конца не будет. Вот она какая, наша Сибирь!

Говорят, соловьиные песни очень красивы. Не знаю, не слышал — у нас нет соловьев. А еще говорят, что, слушая их нежные трели, можно всю ночь напролет просидеть и не заметить, как наступит утро. В это я верю. Потому что для меня Енисей — та же соловьиная песня. Удивляюсь, как могут ребята, свободные от вахты, в красном уголке сидеть, резаться в «козла», двигать пешки, слушать лекции Васи Тетерева. Даже книги читать, что, вообще-то говоря, я и сам люблю, но только зимой. А летом я буду хоть сутки стоять на палубе и глядеть, глядеть, как открывается даль за далью, на прямых плёсах в знойный день словно бы тонкими стрелочками от берегов отчерченная. Стучат дизеля, легкая дрожь от них по корпусу судна передается, и кажется тебе — это стучит сердце, гонит по жилам бурлившую кровь. И, как с живым, с теплоходом тебе поразговаривать хочется. Объяснить ему, до чего жизнь хороша. Попросить его, чтобы мчался он по Енисею еще быстрее.

Когда я вот так, очень долго, стою и гляжу на реку, у меня капля по капле набегают в душу удивительные радость и счастье. Постепенно все вокруг мне кажется лучшим на свете. И теплоход, и люди, какие едут на нем, и сам я. Про Енисей не говорю — он и всегда такой. И тянет тогда обязательно к кому-нибудь прильнуть поближе, разделить с ним свою радость. Даже если перед этим были у тебя неприятности — все забывается! Люблю тоже, когда в такие минуты к тебе издалека доносится чужой разговор. Только не нытье и не глупости какие-нибудь, а умные, светлые слова. Я их тогда почему-то особенно хорошо запоминаю. Все до одного, точно, как были сказаны, потом могу повторить, А кое-что даже в тетрадку себе запишу.

И вот, как раз, слышу я, двое пассажиров из экспедиции, которая все классные места закупила, сбоку от меня разговаривают. Конечно, инженеры. Сидят в плетеных креслах, оба с густой проседью и лица ветрами исхлестанные. У одного так даже шрам через всю щеку. Это уже от чего-то покрепче ветра. И того и другого я мельком видел уже. При посадке, и потом — гуляли они по палубе. А все, кто был еще из этой экспедиции, подходили к ним и здоровались с большим уважением. Особенно с тем, который со шрамом. Но, между прочим, он не начальник экспедиции. Тот из каюты своей еще ни разу не выходил, даже пищу официантки носили в каюту, а что для него приготовить к обеду — приходил спрашивать сам директор ресторана.

— Да-а! Построить, Николай Петрович, енисейский каскад, — говорит инженер, который со шрамом, — это будет нечто неповторимое во всем мире. Не только в нашу эпоху, но и в веках. Не о технике говорю, техника то в будущем еще черт знает что сделает — говорю о возможностях самих рек. Нет ведь в мире реки богаче Енисея по запасам энергии! Влюблен я за это в Енисей, в его богатырскую силу.

И мне захотелось откликнуться: «Я тоже».

Второй, в общем, с ним согласился. Только говорил как-то посуще, с цифрами. Упомянул про нашу будущую Красноярскую ГЭС, про ГЭС Абалаковскую, которую начнут строить ниже впадения Ангары в Енисей, и тут я впервые услышал еще про одну ГЭС — в Корабликах, гидростанцию совершенно невообразимой могучести. Но тут меня и грусть слегка взяла за душу. Кто не видел Корабликов, тот не знает, какое это чудо природы. Нечужто начисто такая красота погибнет?

А Николай Петрович говорит, словно читает газету:

— По моим расчетам, из зон затопления по всему Енисею со временем придется убрать примерно с сотню миллионов кубометров леса. А может, и больше. Вот тогда наступит конец сибирской глухомани!

И потом прибавил еще что-то, вроде: «Будут построены десятки крупных городов, задымят заводские трубы. Прекрасное будущее ожидает Сибирь».

А я чуть не закричал: «Совсем не прекрасное!»

Но первый, со шрамом, успел как раз под мои мысли, только по-своему, ответить:

— Да, Николай Петрович, лес придется убирать — это верно. Но я вижу будущую Сибирь по-прежнему таежной. Довольно нам леса косить словно косой. Они у нас должны не уменьшаться, а увеличиваться. Пусть строятся десятки новых городов, приветствуя это, ради них и веду я всю жизнь свои изыскания. Но, Николай Петрович! Пусть строятся новые города прямо среди первозданной тайги, отнимая у нее лишь самое необходимое место, ни единого вершка больше. Пусть даже прямо на улицах, в скверах, в парках, у дорог к аэродромам остаются вековые сосны, лиственницы, ели, естественный лес — и пусть это будет характерным отличием городов Сибири. И пусть в самых ближних окрестностях городов сохранятся тетеревиные и глухаринные тока, гнездовья диких уток и гусей и, знаешь, — медвежьи берлоги! Ей-богу же, посаженные в рядок и подстриженные акации ничуть не красивее диких зарослей черемухи, и гипсовый олень в парке не лучше живого оленя в тайге! Ты знаешь, я собираюсь писать гневную статью в защиту сибирского кедра. Ай-яй-яй, как варварски сейчас его истребляют! А каждое дерево — это все равно что дойная корова. Да из хорошего, племенного стада. Ты пробовал ли кедровое масло? Кедровые сливки? Чудеснейшие вещи! Питательные, вкусные — пальчики оближешь. Начинка конфет, знаменитых «Мишек» — это ореховый жмых... О, сколько может дать человеку сибирский кедр, если к нему отнеслись по-хозяйски! Я приbrasывал на карандаш: сибирские кедровники могут полностью покрыть всю потребность нашей страны в масле. Представляешь: полностью! Что называется — не нужно и коров разводить. Вся забота: собрать щедрые дары природы. А сейчас — удержать топор некоторых ненавистников тайги. Вроде тебя...

Николай Петрович было сорвался с места, но первый замахал на него руками:

— Ладно, ладно, сиди молчи, не оправдывайся. Я тебе поставлю в упрек еще и дымящиеся трубы заводов. Стоит нам строить гидростанции на Енисее, чтобы по старинке поганить его дымом! Нет, извини! Что? Да

если ты собираешься здесь возводить города на лысых, обезлесенных горах, и еще города с дымом — сейчас же пойду в каюту и к чертям порву все свои проекты и расчеты!

У меня грудь так и расперло от радости. Вот это толково думает человек! Не вытерпел я, стукнул кулаком по перилам и заорал во все горло: «Правильно!»

Оба они засмеялись. А тот, который со шрамом, даже в ладости захлопал: вот, мол, не я один против тебя, Николай Петрович. Похвалил меня за поддержку, назвал молодцом. А дальше получился у нас такой разговор:

— Матросом работаешь?

— Матросом.

— Прислушивался к нашему спору? Пойти на строительство ГЭС, конечно, мечтаешь? Плотиной взнудить Енисей.

— Нет, — говорю, — не мечтаю. Для меня лучше речника нет другой профессии.

— Ага! Значит, в замыслах — усатый капитан, фуражка вот с такой капустой и зычный голос: «Отдай якорь! Трави канат!»

— И не думаю быть капитаном.

— Гм... Тоже понятно. Век техники. Главный механик: «Могу прибавить еще двадцать два оборота».

— Механиком я и вовсе быть не хочу.

— Да? Так кем же тогда?

— Кем есть — рядовым матросом! К этому и газеты призывают: молодежь — на производство. На физический труд.

— Вот как? Значит, матросом до конца жизни?

— До самого конца, — говорю. — А если бы и на том свете плавали теплоходы, я бы и там пошел только в матросы.

Помычал чего-то мой со шрамом, кислое сделал лицо:

— Своеобразно понял наш молодой товарищ призыв партии и правительства.

Можно было поспорить. Понял я все очень правильно. На любой теплоход нужен только один капитан, а матросов много требуется. Что будет, если все полезут

в капитаны? Пусть в капитаны идут те, кому командовать хочется да ручки свои поберечь.

Но тут подошел Шахворостов. В шелковой тенниске огуречного цвета. Татуировка — якорь, чайки и волны. Чтобы думали люди: старый речной волк. Вообще-то, конечно, волк.

— Эх, и храланул я сегодня, Костя! Как разулся — сам не помню. Все заспал. Тебя Тетерев в самодеятельность записал?

— Записал.

— Так пойдем на сыгровку. Тумарк Маркин всех repetировать загоняет.

— Сам же знаешь: играть я не умею.

— Ерунда! Будешь аккомпанировать на контрабасе. Одну струну дергать. Я тебя живо научу. Получится тогда у нас не квартет, а квинтет.

— Отстань, — говорю, — со своим контрабасом. Я уже решил: буду Маяковского декламировать.

— Декламируй. И на контрабасе играй. Это, брат, приятно, когда тебе хлопают.

— Не за всякое исполнение хлопают.

— В самодеятельности — за всякое. А девушки на артистов как поглядывают? И еще учи, персонально: почтовая Шурка тоже записалась. При единственном таланте: влюбляться. Отсюда какая мораль?

Больше всего в Илье не нравилось мне, как он о девушках говорит, всегда с сальностями. А если еще при посторонних заведет такой разговор — прямо не знаешь куда деваться. Обязательно повернет его так, будто не он, а ты разговор этот затеял. Пробовал я обрывать Илью. Резко, сердито. Хуже получалось: он тогда еще ловчее вильнет и загонит тебя вовсе в тупик.

Вот и теперь, в краску бросили меня слова Шахвостова.

— Зачем, — говорю, — Илья, ты всякие гадости говоришь?

— Костя! Ты любовь девушки гадостью называешь? Извиняюсь! Должен сказать тебе, что Шурочка совсем не такая, как ты о ней думаешь.

И все это громко, при посторонних, при инженерах из экспедиции. Ох, и зачесалась же у меня рука ударить

Илью! Знаю: с одного разу свалится он. И знаю: успеет сказать он тогда в отместку еще что-нибудь, похуже, похлеще первого. И еще знаю: эту оплеуху на комсомольском собрании мне тоже обязательно присчитают.

Выходит, годится только единственное: поскорее отсюда Илью увести.

— Ладно, пошли, — говорю, — искать Тумаркина.

Идем. Я молчу. Илья «Санта-Лючию» насвистывает. Проходим мимо почтовой каюты. Вдруг Илья рывком открывает дверь и вталкивает меня туда:

— Вот он!

Шура на койке лежит, книжку читает. Вскочила, платье поправляет, с испугу книжка из рук у нее выпала...

А дальше получается так. Мне до смерти стыдно: вроде бы сам я нахалом вломился сюда. Но вместо того чтобы сказать, как это случилось, я почему-то подымаю книгу, а Шура, тоже красней помидора, старается вырвать книгу из рук у меня и все повторяет одно: «Дайте, дайте сюда». Чуть разжал я пальцы, она книгу — раз под подушку. И как-то с запинкой: «Пушкина перечитываю...»

Когда подымал я книгу с пола, мне попались на глаза слова «дьявол», «монах», какое-то имя, вроде Рустико, и длинное-предлнное название главы. Не встречал я такого в сочинениях Пушкина. А не хвалясь, скажу: зимой прочитал пудовый однотомник от корки до корки. И хотя я не обиделся на Шуру, потому что в замешательстве всякий человек может обмолвиться, но все же мне подумалось: неправду она сказала. Но это чуть мелькнуло и сразу прошло. А потом я стал извиняться и объяснять, как втолкнул меня сюда Шахворостов.

Шура только головой покачала печально:

— Значит, сами бы вы не зашли?

И опять мне пришлось объяснять — путано объяснять и оправдываться, почему я не позвал ее посмотреть на Казачинский порог.

Но все же постепенно у нас сложился хороший разговор, и Шура, как в первый раз, стала меня угождать конфетами и печеньем. Стала рассказывать, какая у

них славная семья — особенно мама — и как все они дружны между собой. Квартиру описала — оказывается, у них домик свой — и комнату, в которой сама живет. Отдельная комната. А обстановка в ней — куда там даже Терсковым!

Я слушал и хотя не завидовал, но было мне как-то неловко. Нечем ответно блеснуть, нечего вровень с ее описаниями поставить. Конечно, мать у меня тоже очень хорошая. Но Шурина мама, как она сама ее назвала — «веселая хлопотунья». А моя мать лежит параличная. И веселых слов от нее, сами понимаете, мало услышишь. Чаще ворчит и сердится она. Леньку тоже не поставишь на одни весы с Шуриной сестрой, студенткой. Даже по виду. У той завивка «перманент», а у Леньки свой «перманент» — нос постоянно в царапинах и веснушки всегда, как отруби, шелушатся. Квартирою своей перед Шурой тем более никак не блеснешь.

Шура все это, наверно, как-то угадывала. Очень меня не расспрашивала — так, бросит вскользь один-два вопроса и опять о своей семье говорит. Как это получалось у нее — не пойму, но ничем она передо мной вроде бы особенно и не похвалялась, ничем не принижала меня и мою семью, а осталось тогда в душе у меня: «Эх, вот у них хорошо так хорошо!»

С таким веселым, радостным чувством я и вышел от Шуры. И только я повернул за угол, где стоит кипятильник, вдруг навстречу попадается та самая женщина, которая мне при посадке совала в руку десятку. Улыбается: «Здравствуйте, молодой человек!»

Сразу как-то остро мне в сердце ударили и вчерашний разговор с капитаном, и все-таки тревожное ожидание «проработки», и заглохшее было желание узнать, кто очернил меня как взяточника.

— Эх вы, гражданочка! Зачем сказали вы капитану, что я с вас деньги брал? Разве я взял?

У нее и глаза округлились:

— Что ты, что ты, бог с тобой! Я сказала? Может, сказали другие, которых твой товарищ устраивал? Мне самой от них оскорблений досталось.

Гляжу на женщину и не понимаю: да что же раньше-то мне это в голову не пришло? Ясно: тень Ильи

на меня перебросилась. Только как же... Он ведь родственников своих устраивал... И тогда совсем уж нехорошо мне подумалось. Бегом — искать Шахворостова. Нашел. Выволок к якорным лебедкам, в тихое место.

— Ты не родственников сажал в Красноярске, а чужих, — говорю, — и ты с них брал деньги.

Он дернул плечами, пощупал ямки на своей глиняной голове.

— Я-то думал, чего ты меня потащил. Ну, брал. И водку вместе с тобой мы на эти деньги пили. И еще выпьем. Не думай: капитал себе на этом я не заработал. Тоже, деньги! Сто рублей...

— Да как же мог ты молчать, когда товарища твоего обвиняют?

— Эх, ты! — говорит. — Дурак, а не лечишься. Все это дело против тебя пузырем мыльным лопнет. Никакой пассажир, что взятку он дал, не подтвердит. Кто дает, тот тоже отвечает. А я бы сам пошел к капитану, назвался — что тогда? — Помолчал и плонул за борт, в воду, в золотистые искорки. — Если бы я человека убил или казну ограбил, а то со спекулянтами, с паршивой овцы шерсти клок взял. Ну, пойди к Ивану Демьянчу, расскажи. Думаешь, как: сделаешь по-товарищески?

Обнял меня. И тяжело-тяжело стало мне от его рук, будто он выворотил сейчас со дна Енисея громадный камень и на плечи навалил.

Глава девятая

БЕЛАЯ НОЧЬ

Помню, Ленька однажды спросил меня: «Костя, а какие это бывают белые ночи?» Рассказал ему. Он опять спрашивает: «А когда бывают белые ночи, тогда дни, наоборот — черные?» Такое вымудрить мог только Ленька, и в шесть лет. Но теперь его слова попадали в самую точку. Белые ночи начались от Енисейска, черные дни, как вы знаете, даже чуточку раньше...

За сутки «Родина» отмахала еще четыреста километров. Делала остановки на пристанях в Ярцеве, в Ворогове. Рассказывать о них нечего, постояли, дали гудки, подняли якорь и снова пошли.

А теперь мы подплываем уже к знаменитым Корабликам.

На часах время «ноль, ноль», на небе — ни солнца, ни луны.

В школьных учебниках есть объяснение этому, даже с рисунками, схемами, чертежами. Но когда в такую прозрачную полночь ты один стоишь на палубе, запрокинув голову кверху, а рубашка и волосы у тебя мокрые от росы и ничего другого на реке не слышно, кроме стука дизелей и шипения пены от винтов за кормой, — никакие схемы и чертежи на ум тебе не идут. Ты видишь просто, что все небо сияет само, будто его сплошь заволокло тонким светящимся облаком, чуть поголубее к югу и вовсе не имеющим цвета на севере. Говорят: «Белая ночь — это когда газеты можно читать». Не спорю. Но к этому только прибавлю: «Белая ночь — это когда с палубы уходить никак неохота».

Так будет от Енисейска до Курейки, до самого Полярного круга. А там — конец белым ночам. Пойдут уже солнечные ночи.

Прежде Корабликов нужно проплыть Щеки.

На реках чаще бывает так: один берег крутой либо даже обрывистый, с гнездами ласточек и стрижей, а другой — обязательно низменный, заливной, в зарослях тальников и черемухи. Случается, что река забирается в горы, и тогда с обеих сторон над ней стоят темные дремучие леса. Где-нибудь на повороте она ударит в гору своим могучим плечом, срежет, смоет землю, и выступят тогда обнаженные скалы, «быки». Всяких утесов, гранитных «быков» на Енисее хоть отбавляй. Но такое, как Щеки, и на Енисее только один раз встречается. Здесь река пробила, можно даже сказать пропилила, горный кряж поперек, сделала себе в нем узкий прямой проход.

И вот стоят две высоченные каменные стены из красного и желтого гранита, точно по отвесу, а Енисей течет между этими каменными «щеками», течет и, похоже, с

опаской оглядывается — вдруг граниты сомкнутся, за-
жмут его в клещи!

А на самом выходе из Щек и стоят Кораблики. Сильно стиснут горами здесь Енисей, но два скалистых острова, как раз посредине реки, все-таки поместились. Узкие, длинные, скалистые бока у них водой отполированы. Смотреть с любой стороны — высокий красивый корабль тащит за собой на буксире другой, пониже — «барочку». Нос у переднего «кораблика» острый, подъемистый, с площадкой, на которой стоят якорные лебедки. А дальше, как полагается, всякие палубные надстройки, еще выше — рулевая рубка с капитанским мостиком, дымовая труба и даже мачты из сухих прогонистых лиственниц. Похожи Кораблики еще и на два каменных айсберга. Это, может быть, потому, что глубина реки здесь непостижимая, просто океанская, и еще потому, что часто обманывает зрение: кажется, не Енисей течет, а Кораблики плывут, движутся ему на встречу.

Недобрый человек или растяпа спалил недавно на обоих островках и по правому берегу Енисея всю тайгу. Правда, растет уже молодая подсада, но это пока совсем не то. Я помню, какая дикая красота была здесь прежде! Глядишь на берега — темень, с жутью гуща лесная. Повыше — лиственницы, сосны, чуть ниже — кедры и ели, совсем над рекой — кудрявенькие березки, осины с листьями-пятаками, размашистые черемушки и дружные, густо приставленные друг к другу тальники. И повсюду, повсюду малинники и рябина, повитая диким хмелем. Все переплелось, спуталось. Упади на тайгу что-нибудь сверху — ни за что не долетит до земли, обязательно на ветках у деревьев зависнет. Вернется ли снова все это?

На страшных глубинах Енисея у Щек и у Корабликов зимой в ямы собираются осетры двухпудовые и вообще самая крупная рыба. Рассказывают, когда-то был здесь такой случай. Приехали рыбаки, надолбили лунок во льду, сетями огородили самую глубокую яму и давай железом на длиннющих шестах по дну ботать, чтобы рыбу спугнуть, загнать ее в сети. Целый день в клячий мороз без передышки работали, жадность

гнала. А подымать стали снасть, не вытащили, пообрывались тетивы у всех сетей — такая машина навалилась рыбы.

Теплоход сверху проносится мимо Корабликов в какие-нибудь две-три минуты, а люди готовы не спать всю ночь, только бы поглядеть на такую красоту. Не все люди, конечно, а любители природы. Другим так все равно что по Енисею плыть, что по грязной луже — было бы в ресторане пиво.

Я никогда не спал у Корабликов, даже если проплывали мы их самой темной ночью, в дождь, в осеннюю пургу. В любую погоду они хороши, и в памяти у меня их словно бы целый альбом накопился. Больше всего люблю я смотреть на них под осень, когда по очереди бывают уже и полная темнота, и белый рассвет, и малиновое утро. При первых лучах особо прекрасны Кораблики. Вода вся огнями пылает. И на ней комья пены то красным, то розовым, то белым лебяжьим пухом на солнце отсвечивают. А пены этой — как лилий, кувшинок на тихом лесном озере. Кружатся, кружатся под скалами, в водоворотах. В расселинах утесов звонкие ручейки прыгают, а в других местах едва лишь слезятся на камне. И там тогда остаются оранжевые длинные полосы. Вообще столько красок играет и на реке, и на скалах, и на вершинах деревьев, что тебя прямо кидает в какую-то счастливую дрожь.

Между прочим, в белую ночь Кораблики тоже хороши, но выглядят они суроше, строже.

На вахте сегодня со мной Петя, Петр Фигурнов. Что полагалось — помыли, надраили, и делать нам больше нечего. Фигурнов отправился полоскать швабры, а я хожу по верхней палубе, любуюсь на берега; запрокинув голову, разглядываю белое ночное небо. А самого все тянет почему-то мимо Машиной каюты пройтись. Вспоминается горячая золотая дорожка, которая в Красноярске вела от ее окна прямехонько на Столбы. Теперь по реке от ее окна никуда дорожек нет.

С Фигурновым никак не ладится дело. Он мне отрезал опять:

— Не лезь со своей дружбой. Ты обидел меня. Ну и все. Для ясности.

Я сказал, что меня он обидел не меньше, но я могу попросить у него прощения, если он любит это. Фигурнов сказал, что не любит.

— Тогда, — говорю я, — чего тебе еще нужно?

— Ничего. Время нужно, чтобы перемолошься. Ежели перемелется. Такой уж характер.

— А ежели не перемелется?

— Ну, так тогда и останется.

Потом я много раз с ним еще заговаривал, но кончал Фигурнов всегда одинаково: «Не могу. Не прошло еще. Рано».

В эту вахту мы с ним работали вместе. Честно помогали друг другу. Но молча. Может, и с вами такое бывало? Ожесточится сердце, и хоть ты что — не отходит. Вот пример. В нашем доме молодожены живут. Хорошие люди, веселые, добрые. По вечерам поют, хохочут, танцуют под патефон. И вдруг что-то там произойдет между ними. В квартире у них сразу наступает тишина. И этак дней на пять, на десять. Вымалчиваются оба. Хотя по-прежнему выходят вместе на работу и даже — под ручку! — в кино. Об этом я вам сейчас рассказал только потому, что, как-никак, скучно на ночной вахте и особенно в белую ночь, так вот с товарищем ходить бирюками.

Впрочем, ведь и день вчера для меня не был легче, я не зря в начале этой главы вспомнил Леньку с его мудрым вопросом насчет черных дней и белых ночей. Один разговор с Шахворостовым чего стоит!

А потом — репетиция. Вообще-то, правду сказать, вся самодеятельность наша была больше выдумкой Васи Тетерева для галочки в отчете, чем для развития талантов. Попробуй спрепетировать и показать всю программу, когда то один, то другой матрос на вахте! Но все-таки, конечно, если каждому как следует подготовиться — не теперь, так зимой на отстое, в клубе, можно было бы хорошо выступить. Вы тогда спросите: чем же не понравилась мне эта затея?

Тем, что Марк Тумаркин был назначен режиссером, а его указаний никто не слушался. Даже при том условии, что у Марка мать бывшая артистка. Это раз.

Два — тем, что читал я Маяковского «Стихи о со-

ветском паспорте» очень плохо — орал, а не читал — все смеялись, и Маша смеялась, а Шура вызвалась помочь мне их отрепетировать. И стала сама читать эти стихи. Голос у нее против моего, как самая нижняя струна на гитаре против самой верхней. А слова прямо насквозь пронизывают тебя. Любопытно получается. Про бюрократизм, к примеру, она выговаривала строчку так, будто действительно она волк — возьмет и выгрызет. Мне показалось, будто я слышу: у Шуры щелкнули зубы. Насчет мандатов сказала с каким-то презрением. Пальцем даже не пошевельнула, а я вдруг увидел, как она их со стола сбросила. Чертей с матерями вовсе замяла (а я на чертей больше всего нажимал) — зато слова: «Но эту...» так она вылепила, что, не поверите, почувствовал я у себя в руках краснокожую паспортину. Словом, не стихи прочитала Шура, а полную картину нарисовала, как Маяковский гордо нес свое звание гражданина Советского Союза. И я обозлился на Шахворостова — зачем он высмеивал талант Шуры. И, главное, понял, какой бесталанный оболтус я сам.

Три — тем не понравилась репетиция, что Фигурнов читал на память рассказ «Поженились» какого-то Евгения Стряпушечкина, в котором вышучивается парень один: увлекся случайной знакомой и потерял чудесную девушку, своего лучшего друга. Рассказ несмешной и неправильный, потому что в жизни все бывает как раз наоборот. К примеру — у нас с Машей. А Маша почему-то настояла, сказала: «Евгения Стряпушечкина в программе нужно оставить».

Четыре — тем, что сама Маша взялась разыграть какой-то скетч. И ясно — с Леонидом! Правда, первый предложил это он, но ведь Маша могла и отказаться. Могла бы спеть одна «Позаастали стежки-дорожки». От этой песни у меня на глазах всегда прямо слезы навертываются.

В общем, этот рейс мог бы быть превосходным, как и все мои прежние рейсы по Енисею, если бы... Вот тут и штука: что — «если бы?»

Стою у окна Машиной каюты. Тихо. Наверно, спит. Хотя и удивительно: природу она очень любит. Будет потом сожалеть, что проспала Кораблики. И потянулась

рука у меня, сам не знаю как — стукнуть в окошко. Прислушался. Вроде бы шорох. Что-то спросила Маша. И снова тишина. Я стукнул еще. И вдруг вижу: с мости-ка спускается Леонид. От лесенки ему только сюда — в другое место идти некуда, капитанская каюта на про-тивоположной стороне.

Не знаю, как поступили бы вы, а я ушел, прямо-таки убежал, раньше чем Леонид понял, почему я здесь. Вы представляете картину: на мой стук Маша подымает жа-люзи, а под окном мы с Леонидом, как два испанских кабальеро...

Быстроенько-быстроенько завернул я на корму.

— А, мой союзник!

В плетеном кресле сидит опять тот же, со шрамом на щеке, инженер из экспедиции. Нога закинута за ногу, кисти рук сцеплены, обхватил ими колено.

— Тоже природой любуемся, молодой человек?

— Я на вахте, — говорю ему. И как-то вовсе не до него мне.

— Ах, вот как! А мне давеча показалось, что к Ени-сею ты очень неравнодушен.

— Енисей-то пуще всего на свете люблю я.

— Ну, вот, это уже через край. — И глаза у него стали какие-то озорные. Тянет меня за руку, не дает пройти, усаживает в пустое кресло рядом с собой. — Не беги. Сядь. Ночь-то какая чудесная! Только для влюбленных. Да-а! Енисей... А я так полагаю, парень, что для тебя сейчас не Енисей лучше всего на свете, а... девушка одна.

— Ошиблись вы, — говорю, — нет у меня такой де-вушки.

— Ну-ну! Не верю! Сам видел вчера, как ты вспых-нул, когда товарищ твой отозвался о ней неуважитель-но. А ты — Енисей... Для меня, вот, Енисей. действи-тельно теперь вся отрада в жизни. Спросишь: почему? — Он задумался, поскучнел, и это сразу как-то отозвалось и во мне. Понимаете — одинаковым настроением. Мы сидели рядом, оба молчали, но было это как самый душевный разговор. Мне вставать уже не хотелось. Сам не знаю как, а я угадывал: чем-то полюбился я этому инженеру. Он тихонько перевел дух, подтянул меня по-

ближе: — Да, вот так, парень: жили, жили счастливо, а потом... пришла смерть в семью мою. Один раз. Второй. Третий. Да и четвертый. И остался, парень, я один в свои шестьдесят два года. Не всех сразу безглазая скосила. А то и мне бы не выдержать. Перенес. Живу. — Потер ладонью лоб. И опять глаза у него повесели. — А хороша штука — жизнь! И молодость. И любовь. Для меня в моей молодости самым драгоценным в мире была моя девушка, потом — жена. Для нее текли и все реки и солнце светило. А у тебя разве не так?

Показалось, испытывает он, проверяет меня.

— А работа? — говорю. — Производство?

— Что — работа? Дорогой мой, как легко работалось мне тогда! О, вот тогда я действительно мог сдвигать с места горы. Для нее, для нее! Ах, какая это великая сила — любовь!

— По-вашему, — опять говорю, — любовь прямо сильнее всего. «Для нее, для нее!» А по-моему, так для родины, для государства прежде всего должен работать и жить человек.

Бурлит вода за кормой, утесы с боков все теснее сдвигаются. Лицо у инженера сделалось усталое. И руки обмякли, сухие, длинные, на коленях лежат.

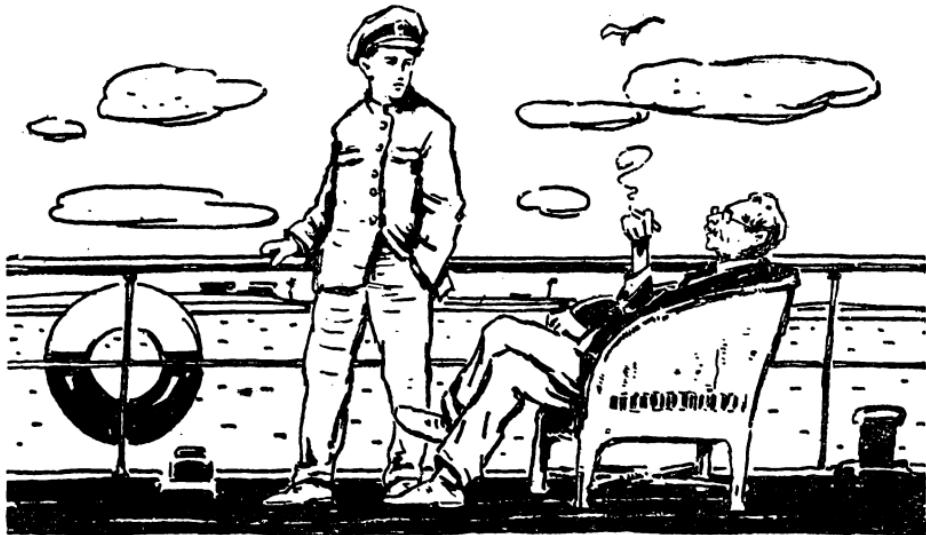
— Вот как! Оказывается, поймал тебя, Иван Андреич, молодой товарищ на слове. Поправил старого большевика. Забыл ты, выходит, родину. На девушку, на любовь ее променял. — Потрогал свои седые, подстриженные усы. — Ехал, парень, по Красноярску я в автобусе. И вот кондукторша тем пассажирам, у которых нет мелочи, продает билеты кругленько по рублю, хотя проезд стоит, скажем, только сорок пять копеек. Нет, нет, в карман себе разницу она не откладывает. Честно отрывает на рублевку билеты и разъясняет: «Граждане, платите без сдачи. Не можете? Ну, я не виновата. У меня тоже мелочи нет. Бесплатно везти вас я не имею права. Не шумите. Если вы против тарифа сейчас переплачиваете, так деньги эти, к вашему сведению, идут не мне, а государству». И ведь знаешь, притихли пассажиры! Разве жаль отдать родному государству полтинник? Хотя, ты сам понимаешь, государство не возьмет со

своих граждан даже одной лишней копейки. В этом и смысл, один из важнейших принципов нашего государственного строя. А вот такие правоверные кондукторши именем государства отбирают у нас очень многое, отбирают порой даже то, что является целью существования самого государства, то есть наше счастье, те основы, из которых складывается честная и чистая общественная и личная наша жизнь. Вот ты сейчас противопоставил любовь, семью, человеческое счастье родине, государству... Парень, да ты знаешь ли, что такое любовь? Да ты читал ли об этом, к примеру, хотя бы у Энгельса? Или ты только слушал кондукторшу из автобуса? Прощлый раз ты мне заявил, что на всю жизнь останешься только рядовым матросом. И тоже ради государства. Неправильно ты понял, парень, свои отношения с государством.

Как тут сразу скажешь: прав он или неправ? Старый большевик, инженер, жизнь повидал и вообще умница. Притом Энгельса я действительно не читал. Ну, может быть, отдельные цитаты. Так были они совсем не к нашему разговору. А что к нашему? У Энгельса-то вместе с Марксом ого-го сколько написано! Попробуй все прочти. Так что насчет своих отношений с государством, пожалуй, правду сказал Иван Андреич, ничего я не знаю. Просто не представляю. Живу, работаю, душа полная свободы. Чего еще? Вася Тетерев у нас на собраниях всегда повторял: «Интересы производства, ребята, прежде всего. Никаких отступлений». Будто и ясно, а из всех этих мыслей и слов, как на токарном станке, формулу не выточишь.

В общем, вид у меня был, наверно, довольно-таки глупый. И, наверно, Иван Андреич понял, что я вовсе запутался.

— Ты, — говорит, — парень, не жди от меня пунктов и параграфов. Ну их к черту. Мне параграфы эти в инструкциях надоели. Вообще, скажу я тебе мимоходом, молодежь сейчас почему-то больше, чем мы, старики, любит разговаривать формулами. Вижу, и ты ловишь старика, ждешь моей формулы насчет родины, государства, любви. Под какими, дескать, пунктами, номерами я все это расставлю. Друг мой, не будет номеров. Все это



единое, цельное. Неужели ты сможешь сказать любимой девушке: «Ты самая лучшая в мире после нашего государства»? Или: «Я буду любить тебя, но меньше родины». Вот ведь до чего можно дойти с такими формулами, как у кондукторши из автобуса! Гляжу я на тебя, парень, и твердо знаю: никогда не станешь ты предателем родины. Крепка и сильна у тебя любовь к ней. Верю и в другое: не изменишь ты и любимой девушке. А впрочем... Не потому ли ты и номера подставляешь, что считаешь: девушка не родина, не государство — ей изменить можно?

Затопил меня Иван Андреич своими мыслями. Куда тут с ним спорить? А он тихонько локтем толкает меня в бок. Показывает:

— Посмотри, вон там двое, у перил. О чем, думаешь, они разговаривают? И как: параграфами, формулами?

А вы знаете, кто там стоял?

Но гуднул тонкий короткий гудок. И я ничего не ответил Ивану Андреичу, побежал. Сигнал — вахтенному матросу подняться на мостик, в рубку. А ночью, с

дёсяти часов вечера и до четырех утра, всегда капитанская вахта.

С тех пор, между прочим, с Иваном Демьянычем разговора у меня больше не было. Встретимся — разойдемся. Он не останавливал. И мне почему-то стало даже казаться: на том все дело и кончилось.

Вошел я в рубку, жду. Впереди Кораблики уже открываются, белая надпись у самой воды на скале. Как не сорвался в реку тот, кто писал? Куда только эти любители надписей не взбираются? Впрочем, я-то взбирался и не на такие утесы.

За рулем Марк Тумаркин. Иван Демьяныч сбоку стоит. Я еще не видел, чтобы Иван Демьяныч сидел. Говорят, что он на вахте вообще никогда не садится. Жду. Пусть первым заговорит капитан. А сам думаю: «Почему он опять вызвал меня, когда теплоход проплывает через самые интересные места?»

А он вдруг поворачивается, спрашивает:

— Барбин, ты сколько раз видел Кораблики?

— Не знаю, Иван Демьяныч, — говорю, — не записывал. Если от пеленок счет начинать — ну, может, раз сто двадцать.

— А я, вот, пятьсот семнадцатый раз проплываю. И тоже не записывал. Просто помню. Как-то само по себе напечаталось в памяти. Речнику полезно иметь хорошую память. Видишь лоб у Кораблика? На нем белую отметину?

— Вижу.

— Ну так скажи, какой, по-твоему, сейчас уровень воды в проточке между Корабликом и Барочкой?

Стал я в тупик. Что я, бакенщик здешний, что ли? Проточку эту хорошо помню. По виду своему она интересная, словно бы отрубила Барочку от Кораблика. Вода из нее точно под прямым углом в главное русло вливается. А глубина какая...

И зачем это Ивану Демьянычу? Все равно по той проточке не только пароходы — катера даже никогда не плывают. Но чувствую: отмолчаться сейчас мне тоже никак нельзя.

— Да, пожалуй... метров семь с половиной.

Понял я: стрелял наугад, а попал в цель. Хотя и не

в самое яблочко. Чешет пальцем подбородок Иван Демьяныч:

— Та-ак, а за рулем ты стоял когда-нибудь?

— Случалось в прошлом году, — говорю, — когда на буксирном я плавал. Раза четыре на тихих плесахставил меня капитан.

— Ну, хорошо. Становись.

Отстраняет Марка Тумаркина. Что делать? Берусь я, а сам будто умер: и дыхания нет, и глаза остекленели. Потому что стал я за руль как раз в тот момент, когда нос в нос «Родина» шла на самый Кораблик. Дать руля круто, свалить теплоход влево — мерещится мне, боком на скалу нанесет. Только слегка подправить — поможет ли? Успеет ли теплоход от скалы отодвинуться? Вовсе ведь близенько. Как это мне руль отдали в такую страшную минуту!

Не знаю, случается ли с вами так, что самый сильный страх когда перегорит, все каким-то особенно простым и ясным делается? Со мной случается. Вдруг потеплели руки, дыхание свободно прорвалось, и живая слеза из глаза выкатилась. Вижу, перед Корабликом вода взбучрилась, и влево от скалы бьет сильная струя — боковой снос теплоходу. И еще: вовсе не нос в нос сближаемся мы с островом, а тот, действительно похоже, как управляемый корабль, вроде сам отворачивает вправо. И наконец, возле своей руки чувствую я руку Ивана Демьяныча, стало быть, на волосок только я ошибись, и он сейчас же поправит мою ошибку.

Тогда я спокойно уже, плавно, начинаю отводить «Родину» влево, беру в расчет боковой слив воды от скал. Вот вы, если никогда не стояли за рулем, не знаете, как ты на это время срастаешься с теплоходом. Чувство такое: руки твои вдруг налились огромной силой, даже будто не руки стали они, а тросы — тянут тугие рули, как человек подтягивает на воде собственное тело. И вот все больше я поджимаю рукоять штурвала, слышу, как потрескивает стопорная собачка, и понимаю: делаю правильно, плывет «Родина» как раз туда, куда поплыл бы и я своим живым телом. Скалы мелькают вовсе близенько от правого борта. Но это ничего, знаю: суда здесь проходят и всегда близко к самому острову.

С берега спорхнула какая-то голубая пичужка, камнем ударила вниз и снова взмыла кверху — уселись на мачту. Ну, прокатись. Только смотри, засидишься, плывем далеко — придется тебе тогда помахать своими короткими крылышками до родного гнезда. Нет, сидит себе, чистит клювом перышки.

— А ворон ты, оказывается, тоже любишь считать.

Перевел я глаза на воду, на берега, глянул вперед. Будто и впрямь капельку с курса я уклонился, разъехались створы.

Но такой уж черт сидит во мне, обязательно тянет всегда на дыбы подняться, заспорить. Тем более, что Иван Демьяныч со мной вроде без строгости разговаривает. И я в ответ ему сказал примерно такое: «Птичка всего одна была, сосчитать ее недолго. И, между прочим, совсем не ворона. А Кораблики я провел хорошо». Сказал, и тут же задним умом подумал: «Ну и влепит мне сейчас Иван Демьяныч!»

Но капитан вроде ничуть и не рассердился, только сделал мне знак — отойди от штурвала, а Марку Тумаркину — стань на свое место. Позвал меня за собой. Вышли мы из рубки. Небо нежным светом так и сочится. Над горами справа ленточкой горит желтизна, и кое-где сквозь вершины сосен проблескивает густой багрянец. От теплохода на воде лежит и скользит вместе с ним темная тень.

— Ну вот, помаленьку, Барбин, ты яснее становишься, — говорит Иван Демьяныч. — Придется к тебе иначе подойти, чем сначала я думал. Что же тебе сказать? Все теперь точно проверено. Сажали незаконно пассажиров двое. Ты прошлый раз отказался, Шахворостов тоже отказывается. А против факта, как говорят, не попрешь: деньги люди вам платили. Кому именно в руки давали — не имеет значения. По житейской логике — делили вы их пополам. Стало быть, и следует вздуть вас обоих. Но есть тут заступники у тебя. Говорят: «Втянул в это дело его Шахворостов». Сам я сейчас убедился: хорошая, речная душа у тебя, а в голове черт-те знает что — зайцы скачут. И вот я так решаю: наказать одного Шахворостова. Тебе прощаю. В первый, единственный и последний раз.

Оглушило это меня. А потом мысли закрутились, завертелись, как винты у теплохода. Шахворостов отказался, на меня не свалил, а мог бы. Сделать ему это было легче всего, когда на меня и так подозрение у Ивана Демьяныча падало. Неужели мне стать свиньей перед Шахворостовым? И еще мысль: кто такой у меня этот заступник? Будто Костя Барбин — хлюпик беспомощный! Не Маша ли попросила? И я не знаю, что ответил бы я капитану, но Иван Демьяныч в это время прибавил:

— Сын мой тоже говорит, что ты парень просто лишь с ветерком, а Шахворостов — третий калач.

«Ага! Без Леонида, так я и знал, конечно, не обошлось! Заступник!»

— Мне нужно, Барбин, знать все точно. Роль Шахворостова в этой стыдной истории. Ну?

И что-то вдруг подхлестнуло меня. Какое-то презрение к разным «заступникам». И гордость за себя, что могу я принять удар вместо товарища.

— Никакой у него роли. — Говорю, а у самого по спине холодок, такой же, как у Корабликов, когда я к рулю становился. — Сотенную с пассажиров взял я. А Шахворостов совсем ни при чем.

Помолчал капитан.

— Ну-да... Стало быть, товарища выгораживаешь? Подставляешь себя вместо Шахворостова? А стоит ли?

Теперь я молчу. Правду капитан говорит: выгораживаю. Ну, а подвести, выдать товарища — разве лучше? Если бы он украл или государству причинил убыток...

— А как же твое комсомольское слово, Барбин? Ты ведь слово давал, что не брал с пассажиров деньги. Забыл?

Нет, не забыл я. Вся душа у меня протестует сказать капитану: тогда я солгал. А подтвердить, что тогда говорил я правду, — значит, сознаться: теперь солгал. И надо рассказывать начистоту про Шахворостова, себя спасать, а топить товарища. Ну, прямо как будто сильным течением несет меня на гряду камней, и как ни бейся, куда ни рули, а обязательно на камень напо-

решься. И вот молчу я, натужно думаю, а время между тем летит вхолостую. Иван Демьяныч постоял, подождал, а потом пошел в рубку.

— Ну, что же, Барбин, ты так ты. Не маленький. Так и запишем.

Я медленно-медленно спустился на палубу. В дальнем конце ее по-прежнему рядом стояли Маша и Леонид. Небо цвело горячей зарей. Белая ночь кончилась. Начинался опять черный день.

Глава десятая

ПРОРАБОТАЛИ

Илья опять обозвал меня дураком. На этот раз — круглым. Дескать, нужно было твердо стоять на своем, отказываться — и никаких! Доведи капитан даже до суда это дело — взятку ничем не докажешь. Услуги, подноска вещей. Тогда всех носильщиков нужно судить как взяточников. Это только один Иван Демьяныч среди других капитанов из себя святого разыгрывает, а сам, поди, тоже у браконьеров рыбку к зиме по дешевке запасает.

Словом, так долго Шахворостов ворчал и ругался, что под конец я обозлился и сам крепко отрезал ему: «Эх, ты, за тебя подставил я голову...» Ну, а там еще всякие другие слова. И представьте: сразу Илья просиял. Объявил, что «дурак» — только к слову, а вообще я настоящий товарищ. Так вот хорошая, верная дружба и складывается. Топят друг друга ради спасения шкуры своей только подлецы. А тут и цена-то всему делу чуть больше двух литров. Как раз за такую цену Иуда, дескать, продал Христа и сам потом со стыда повесился на осине.

— Ну, ничего, Костя, на сотнягу ты погорел, зато, как Иуда, не повесишься.

И даже дал мне эти деньги взаймы, чтобы я внес их в кассу, как приказал Иван Демьяныч. Дал, подумал и

сказал: «Ладно, вернешь всего полсотни. Но имей в виду, Костя, что, только любя товарища, половину твоей глупости на себя принимаю».

Расстались мы как-то неопределенно. Во всяком случае, у меня на душе настоящей радости не было. Что не подвел я товарища — нравилось мне, а что дело с деньгами этими вовсе чистое — в мыслях легко не укладывалось, хотя действительно вроде бы и не краденые деньги и государству от этого убытку нет никакого.

В таких думах я не заметил, как у Машиной каюты опять очутился. Вот с кем поговорить! Шахворостов, конечно, товарищ мне, Маша — тоже товарищ. А подход ко всему у них разный. Слова Машины ненавязчивы, мягче, глаже, за то и прочнее как-то в душу мне вкладывались, не как слова Ильи — тот свои либо с мылом, либо с песком, а, по сути дела, всегда силой вбивал, вколачивал. Что Маша мне скажет?

Постучал в дверь. Ответа нет. Еще постучал. И снова не отвечает. Значит, куда-то ушла. Радиорубка тоже заперта. Не хотелось мне думать, вспоминать Леонида, а вспомнил невольно: они все время вместе. Чего же я стучу, ищу Машу? И найду — так рядом с ним. Холодок прополз у меня по спине. Дудки! Хватит мне вертеться здесь у дверей и под окнами, будто и впрямь я испанский кабальеро! Друзей каждый сам себе подбирает и теряет их тоже сам.

Через минуту я в почтовой каюте уже выкрикивал «Стихи о советском паспорте», и через каждые два слова Шура меня останавливалася и показывала, как прочитать лучше: Но это нисколько не обижало меня, потому что советы были хорошие, правильные. И я совсем не заметил, как мы стали говорить друг другу «ты». С доверием, наверно, это и само приходит.

Потом, как всегда, Шура принялась меня угождать. Наставила на стол всякой всячины, схватила чайник и побежала в титан за кипятком. А я взял у нее с кровати альбом и стал разглядывать. Припомнилось, что Шура как-то мельком назвала себя художницей. Я сам могу нарисовать кое-что в шесть движений пера. К примеру. Горизонтальная линия. На ней полуовал. Сверху прилепить другой, поменьше, и к этому полуовалу две

остренькие скобочки — уши. А внизу размахнуть повольнее любую закорючку — получится хвостик. И вот вам, сидит спиной к зрителям превосходный мышонок. Такими же короткими приемами можно великолепно изобразить козу, индюка или черта на коньках. Но я понимаю, что это баловство, озорничанье, а не искусство. Думал, что и Шура только от скуки балуется. А тут перелистываю страницу за страницей и вижу прямо-таки живые, всамделишные графины, стаканы, человеческий череп, кинжал, до половины вытащенный из ножен, игральные кости. Потом пошли пейзажи, правда, не наши, не сибирские. Потом — всякие сценки с людьми и с животными. Много, наверно, сто или двести разных рисунков. Очень толстый альбом. Так долистал я до страничек, которые почему-то были сколоты скрепками. Но я скрепки снял и тут увидел такое, что сразу же покраснел.

В дверях стоит Шура с чайником. Улыбается. И улыбка у нее тугая, натянутая.

— Ты, — говорит, — чего испугался, Костя? Это по необходимости нарисовано. Художник, как врач, должен знать насквозь всего человека.

Я сказал: «Правильно». Хотя мне было не очень понятно, зачем рисовать себе в альбом то, чего все равно никогда нельзя будет нарисовать на картинах для публики.

И, когда потом мы сели пить чай, долгое время мне все как-то неловко было глядеть на Шуру. А язык стал как в рукавичке — не повернешь.

Но человек не бочка, которую можно наглухо закупорить хоть на сто лет. Тем более, что сама Шура держалась свободно, со своей всегдашней приветливостью. И постепенно рукавичка сползла у меня с языка, разговор наладился, и такой, что мне захотелось рассказать Шуре все. Даже то, как я однажды приходил уже к ней за этим же самым. Вы понимаете, столько дней я томился, а выложить душу было не перед кем. И вот меня прорвало. Я говорил, говорил, сперва путался, запинался, выискивая какие-то пофасонистее слова, а потом пошло хся и как придется — зато с чувством, прямо с дымом и пламенем. Так во мне потребность поговорить настоя-

лась. А Шура подалась ко мне, смотрит в глаза, не отрываётся, и я с расстояния чувствую, какой нежный пушок у нее на щеках.

— Бедный ты, Костя! — И покачивает головой сострадательно. — Только зря ты мучаешься. Если считать, как Иван Демьяныч — жить будет вовсе нельзя. Не заплати за услугу — взятка. С рук не купи красивую кофточку — спекуляция. Да кому какое дело, если человек сам добровольно платит!

Это очень подходило к словам Шахворостова, что, если государству убытка ты не приносишь — плохого в твоих делах нет ничего. А коль рассуждать под Ивана Демьяныча, так у нас честных людей, пожалуй, и вовсе никого не найти. Машинистка вечером на казенной машинке частную работу по полтора рубля за страничку печатает; шофер катит на пустом грузовике, за двадцатку подвозит попутного пассажира; газировка стакан тридцать шесть копеек стоит, а где тебе продавщица точно сдачу вернет — четыре копейки обязательно у нее остается; едет в командировку человек, а оттуда везет домой целый чемодан гостинцев, в служебное время бегал по магазинам; прокурору жена на работу звонит по семейным делам, пятнадцать минут с ним разговаривает, а пятнадцать минут прокурорских стоят государству в зарплате не меньше чем три рубля. Словом, нет такого человека, которого нельзя было бы через какую-нибудь тонкую линию подвести под сомнение.

И я помаленьку опять успокоился. Не такой уж плохой Костя Барбин получается! Если Шахворостов по дружбе меня плечом подпирает, Леонид — чтобы своим благородством блеснуть, то вот, пожалуйста, Шура — просто как человек.

На этот раз в почтовой каюте я засиделся очень долго. Хочу подняться, уйти, но Шура новый разговор начинает и непременно заинтересует меня. А когда говорит — все в глаза смотрит. Поначалу от этого мне было тревожно, словно бы даже щекотно в груди, но потом я осмелел и сам стал искать ее взгляда, потому что и тревожил он и щекотал как-то по-особенному приятно, словно в жаркий день плескала мне в грудь прохладная волна и подымалась все выше и выше.

С Машей прежде мы часто вели похожие разговоры. Но у Маши мысли всегда убегали вперед далеко: «А вот когда...», «а вот если бы...» И за этими «когда» и «если бы» начиналась такая выдумка, которая в жизни вряд ли сбудется. Во всяком случае, в нашей жизни. А Маша верила: «Сильно захочешь, так сбудется».

Шура тоже строила всякие планы. Но не начинала с «когда» и «если бы». Маша, бывало, начнет: «Костя, а вот если бы в Красноярск приехал Козловский...» Шура просто говорила: «Со следующего рейса, пожалуй, пойдет уже и клубника. Целое ведро наварю! Любишь пенки?»

В общем, рассуждения Шуры мне нравились тем, что все они были вокруг предмета, а не вокруг идеи. В идею нужно вдумываться, вникать, да еще сразу как следует вникнешь ли, а предмет видишь глазами и, по русской поговорке, можешь даже рукой пощупать.

Короче говоря, от нашей беседы я ни капельки не устал. И когда по часам сообразил, что все же пора и честь знать — уходить мне еще не хотелось, все развязывал я последние кончики разговоров. Даже раз пять сказал «до свидания», а ручку двери никак не мог нажать. Бывает: зацепит что-то тебя и — крышка! Держит. Тогда либо садись еще на два часа, либо пересиль себя на секунду, действуй плечом, вышибай дверь и как можешь быстрее выскакивай. Так я и сделал. Нажал, не нажал на ручку — не помню, но дверь распахнулась, и я, что называется, пулей вылетел в коридор. Вылетел и — чуток не сшиб Машу.

Она не ойкнула даже, но я видел, что она очень перепугалась, прямо переменилась в лице. Однако все же сказала:

— А я тебя, Костя, ищу. Так ищу...

В словах Маши не было ни крошки обидного, но я почему-то не нашел ничего лучше, как глупо хихикнуть: «Кто ищет, тот всегда найдет».

Дурного смысла в эти слова заведомо я, конечно, не вкладывал, а получилось явно с таким оттенком: знаю, мол, что ты меня выслеживаешь.

Случается с вами или нет, а у меня так часто бывает: ляпнешь какое-нибудь слово и кажется — здорово! А че-

рез минуту сообразишь: дикость. Но слово не воробей, вылетит — не поймаешь.

Когда я был маленьким, девчонок я и лупил и таскал за косички так, как все мальчишки. Но Машу разу одного пальцем не тронул. Почему — сам не знаю. И не знаю — обидь ее — как, какими глазами тогда взглянула бы она на меня, но уж я-то на нее поглядеть бы не смог. И вот теперь я понял: ударил Машу. Очень сильно и очень больно ударил. Это я понял потому, что сказал свои дурацкие слова и сам же скорей отвернулся. Лебедкой не поворотить бы мне после этого к Маше голову. Лица, глаз Машиных я не увидел, только услышал, как прерывисто она перевела дыхание. А потом еще услышал, как по железному полу простучали ее каблучки. И шаги были неровные.

Вы, конечно, сейчас подскажете: побежать мне следовало за Машей, остановить ее, извиниться. Да, теперь это я и сам понимаю. А тогда дверь почтовой каюты оставалась открытой, и я уголком глаза все время видел Шуру, каменно застывшую с пачкой печенья в руке, которое она мне предлагала взять с собой, погрызть на вахте, а я, прощаясь, ломался, не брал. И я не побежал за Машей, я молча вернулся в каюту, взял у Шуры из руки печенье и так же молча ушел.

А вечером состоялось комсомольское собрание. На повестке дня значился только один вопрос. «О неэтичных поступках комсомольца К. Барбина».

Председателем выбрали Машу. Но она отказалась: дескать, страшно болит голова. Тогда на председательское место сел Вася Тетерев. Я даже не запомнил: выбрали его или он сел просто сам. Наверно, все-таки выбрали.

Для этой книги я исписал бесчисленное количество страниц насчет собрания и все выбросил. Правильного описания не получилось. В голове у меня остались от всех выступлений сплошная путаница и туман. Я завидую тем писателям, которые сочиняют про комсомольские и партийные собрания так, будто сами они вели протокол. Скажу вам откровенно: я так сперва вообще даже пробовал прямо вклейте сюда копию с протокола. И опять не выходит. В протоколе, оказывается, за-

писано вовсе не то и не так, как говорили на собрании люди.

Остались от этого вечера в памяти у меня только какие-то обрывочные свои мысли и чужие слова. Помню, было такое чувство, что жарят меня без масла на сухой сковороде и мне все хотелось вскочить, заорать и потереть подгорелые места, но сковорода прикрыта тарелкой и встать я никак не могу. Это, наверно, знакомо и каждому из вас, кого прорабатывали вот так, на общих собраниях.

Помню, как делал обо мне сообщение Вася Тетерев, как кашлял в ладошку, и мне казалось, что он накашлял туда очень много — возьмет и вытряхнет куданибудь под стол. А какие слова говорил он — не знаю, потому что слова его никак не относились ко мне, вернее, к душе моей, к тому, какой я есть, каким я сам себя понимаю. И я глазами все время искал того К. Барбина, о котором писалось в повестке дня и о котором стеснительно докладывал Тетерев. Тот Барбин был для меня совершенно посторонним человеком, и я даже думал: поможет бедняге добрая Васина критика или не поможет?

Запомнилось мне еще, как долго никто не хотел выступать первым. И я чуть было сам не поднял руку. О Васином К. Барбине мне очень хотелось выступить. Но все как-то жалеюще глядели на меня и тогда вроде бы издали, потихоньку заползала в сердце тревога: да ведь это же сейчас обо мне говорил Вася Тетерев! И это меня сейчас начнут драить с песком.

Первым выступил Петя, Петр Фигурнов. И я понял только одно: обида на меня Фигурнова еще не перекипела.

Потом кто говорил — не знаю, и что говорили — не помню. Скорее всего потому, что в левом боку у меня началось страшное колотье, и я не столько слушал ораторов, сколько тискал кулаком свои ребра.

Может быть, это случайно совпало, а может быть, даже колотье прекратилось и раньше, но мне легче стало дышать, когда заговорила Шура. В протоколе ее выступление записано так: «Дело Барбина, которое мы сегодня обсуждаем, не стоит потери нашего времени.

Ничего опасного для него самого, для комсомола и для общества в поступках Барбина нет. Если так — то нужно обсуждать каждого из нас подряд, притянуть что-нибудь любому комсомольцу можно. Я протестую, что «ради примера», как сказал Тетерев, хотят отыграться на одном Барбине. Что он — горький пьяница? Что плохого для юноши выпить глоток вина! Он не безобразничал. Облил пассажиров водой? Рука может сорваться у всякого. Хохотал? Смешно, когда комсомольцам хохотать запрещается! О главном обвинении, о взятке, я и говорить не хочу. Видимо, наш секретарь Вася Тетерев не знает, что называется взяткой. Что говорить о том, чего нет?».

Шура выступила как-то врасплох для меня. А Машу я ждал. Долго ждал. Почему — не объяснить. Впрочем... Собрание она не стала вести. «Голова заболела!» Кто-кто, а я этому разве поверю?

Когда Маша начала свою речь, у меня уши сразу заглохли. Да, конечно, теперь от нее такого я только и ждал! С яростью, с гневом, как про какого-нибудь жулика Лепцова, говорила Маша и, хуже всего, я сам чувствовал, что Машин Барбин — вот это я. И, хотя закончила она так, что, дескать, Барбин все же хороший комсомолец, хороший товарищ и что за меня может она сама на будущее честью своей поручиться — мне было уже все равно. Я видел себя рядом с Лепцовым в шикарном особняке, купленном на казенные деньги, среди ковров и зеркал, и даже лепцовская собака вертела у меня перед самым носом своим обрубленным хвостом!

Какое решение приняли на собрании, я узнал после — указать комсомольцу К. Барбину, и так далее, — а тогда все слова резолюции пролетели мимо меня. Не помню даже своей речи. Кажется, давал обещание исправиться. Но это и все на собраниях так говорят. И я сказал так потому, что надо же было что-то сказать, а сердце, душу в это время закупорило.

Последнее, что я запомнил от собрания, — веселое Васино лицо. Его круглые щеки, пухлые губы. Он подошел ко мне, когда в красном уголке никого уже не было, а я все еще сидел, как козявка, пришипленная для кол-

лекции к картону. Вася покашлял в руку и прямо-таки нежно сказал:

— Ну, вот, Барбин, я так и рассчитывал. Проработали тебя сегодня здорово. А хорошо прошло собрание, правда? Как остро выступала Маша Терская! Принципиально, с обобщениями. И Фигурнов — ничего. Ты тоже хорошо, принципиально выступил. Не стал оправдываться. Молодец! Я думаю, теперь тебе нужно только стать поактивнее, включиться в общественную работу. Это очень поднимет тебя.

Глава одиннадцатая

МАШИН РАЗГОВОР

Проснулся я совершенно свежий. Настроение такое, что не будь надо мной потолка, я, как дирижабль, поднялся бы прямо в небо. Все, что эти дни накопилось у меня внутри, после вчерашнего собрания сразу куда-то прочь отошло. Так бывало в детстве со мной. Набедиши чего-нибудь. Кричит мать, ругается, и сам ты страдаешь никак не меньше ее, пока ремень не возьмет она. Выдерет как следует, поревешь во все горло и — тишина, спокойствие. В комнате, и на душе у тебя. Легко-легко. Даже песни петь хочется.

Открыл я глаза — Тумарк Маркин глядит на меня. Челочка к самым бровям у него спустилась. Потягивается, говорит:

— Сегодня новую жизнь на «Родине» начинаем. Так, что ли, Костя?

В другой бы раз, пожалуй, взвинтился я: этакий цыпленок, а говорит, будто он секретарь райкома комсомола. Или, на крайний случай, инструктор. Но тут я нисколько не рассердился. Пружиной выгнулся на койке — бедная даже хрустнула, — соскочил на пол, на носочках еще попрыгал, чтобы окончательно ноги размять:

— Да уж начну, не беспокойся.

И побежал в душевую. Хороша енисейская водичка на севере! Но вроде бы даже еще тепловата. Со снежком бы сейчас, ледяной крупкой растереть себе кожу, чтобы горела, пыхала изнутри.

Возле кухни с первым штурманом встретился.

— Ну как, Барбин?

— Как полагается, Владимир Петрович!

— Добро.

На кухне помощница повара Лида — тоже критиковала вчера на собрании — наложила в тарелку мне каши целую гору, а масла уж в нее столько лила, лила, пока я сам не взмолился:

— Да хватит же, Лидочка! Не ослепнуть бы мне.

Так она и после этого еще две ложки плеснула: «Ничего, не ослепнешь. Кушай себе на здоровье».

Кто-то из матросов на ходу сунул пачку папирос мне в руку: «Кури, Барбин». Хотя, вы знаете, и не курю я вовсе.

Словом, ото всех внимание прямо удивительное. Получается: стоит почаще попадать в такие истории.

Перед вахтой забежал на минутку к себе Шахвортов один, сидит на постели, на голове ямки щупает. Увидел меня, потянулся за подушку, причмокнул:

— Промочим капельку горло? А?

— Обязательно! — говорю. А сам из руки у него бутылку — раз! — и вышвырнул в иллюминатор. В бутылке было на донышке, не то Илья, наверно, сошел бы с ума.

Вообще, мне ужасно хотелось озорничать! И я теперь очень хорошо понимаю телят, когда они скачут по лугу, трубой задрав хвосты.

На корме, пока не было никого, я даже рискнул сделять сальто. И представьте себе: вышло! Хотя до этого акробатикой я никогда не пробовал заниматься, боялся шею свернуть.

С особым удовольствием в это утро я драил и медные ручки. Хотелось, чтобы сверкали они чистым золотом. Прошел капитан:

— Работаешь, Барбин?

— Работаю, Иван Демьяныч.

— Черт тебя подери-то!

И я уловил в голосе у него крепкую веру в меня: «черта», говорят, пускал он только в самом крайнем случае. Ох, и вызолотил же я после этого ручки!

Поднялся со шваброй на верхнюю палубу. Вот те на — дождь! Откуда только он взялся? Или тучи сами так быстро набежали, или мы под тучу въехали? Скорость у теплохода, как-никак, двадцать восемь километров в час!

Правда, дождь небольшой — «моросяvка». Но все-таки палуба быстро намокла и заблестела. Пассажиры все разошлись по каютам. Зато мне полнейшее раздолье, никто не мешает. По другому борту Петя, Петр Фигурнов швабрит. В это утро он сам первый подошел ко мне, сказал: «Ну вот, Барбин, теперь конец. Вчера последнее перегорело. Могу о чём хочешь с тобой разговаривать. Это для ясности». И даже шея у него стала вроде бы покороче.

Я упоминал раньше — «утро». Но здесь, где белые ночи, это только для обозначения времени. В пасмурную погоду, по сути дела, и ночь и утро здесь одинаковы, причем даже не белые, а бледные, вот как люди без румянца и без загара, вроде Васи Тетерева. Природа в такую хмарь словно цепенеет. И просыпается она постепенно и долго. Там рыба плеснет, бухнет по воде широким хвостом; там птака какая-нибудь чирикнет; там комаришка заблудящий над головой зазудит; там ветерок пролетит над теплоходом, мелкую капель со снастей стряхнет. На юге, да в ясную погоду, утро начинается не так — веселее и вдруг.

Можно сравнить с человеком. Один рано проснется и в постели лежит, потягивается, вертится с боку на бок, зевает. Потом сядет, одежду свою искать начнет, засунет в рубашку голову, а рукава никак натянуть не может. Это пасмурная северная ночь. А другой человек глаза открыл, пружиной на постели подскочил, как я сегодня, раз-раз — давай гимнастику делать, а потом — ух! — холодной водой себя с головы до пяток. И побежкал на работу. Это ночь южная, ясная. Какая из них лучше — не знаю. Любая по-своему хороша. Но сегодняшнее утро изо всех было самое лучшее. В самой его серости, медленности было что-то ласковое и нежное.

И, хотя мне полезнее было репетировать Маяковского, я запел «Уральскую рябинушку».

Недалеко уже и до Нижне-Имбатского. Без малого тысячу триста километров от Красноярска мы отмахали. У другой реки, глядишь, это вся ее длина от устья и до самого тоненького ручейка, с которого она началась, а для Енисея, можно сказать, вовсе небольшой кусочек. На таком пути проплыли, и город-то только один — Енисейск! Ну, лесопильный завод еще в Маклакове, десятка три деревень да сплавных и лесозаготовительных участков. И все. Вот она: тайга так тайга. А ведь сколько миллионов людей может она еще прокормить! Да вот мало кто едет сюда. Одни боятся, а другие просто не знают, как развернуться здесь можно. Н-да, как говорит Иван Демьянчик.

А дождь-моросявка все брызжет и брызжет, и когда такой дождь — он даль закрывает. Кажется, что теплоход скользит по круглому озеру. И вода в реке становится какая-то странная, по-прежнему режет ее нос теплохода, а того веселого звона, как в жаркий день, уже нет. Шуршит, как песок. Из-под винтов пена вырывается тоже вовсе другая — серая. А в тихий солнечный день она белая-белая, и под нею словно бы стелется зеленая дорожка.

Фигурнов подошел ко мне. Теперь не закручивает винтом свою шею, держит ее по-человечески и по-человечески разговаривает. Оказывается, в Сургуте, где ночью ненадолго мы останавливались, живет у него сестра замужняя. Так Петя мой успел сбегать в самый дальний конец села. Поднял сестру с постели, а поговорить не пришлось — «Родина» дала первый гудок, и Фигурнов помчался обратно. А все же доволен, рад. Повидал сестренку. И даже голос ее два раза слышал. Когда в окно стучал, спросила: «Кто там?», и потом, когда от окна удирал во все лопатки — «Петенька, ты куда?» Ну, ничего, говорит, все-таки убедился: жива и здоровая.

Н-да... А я вот не повидал в Енисейске деда, хотя «Родина» стояла там целый час и ходьбы до дедова дома было не больше пятнадцати минут. Откровенность за откровенность, рассказал я об этом Фигурнову. Гово-

рю: «Сам не знаю, как получилось». А было у меня тогда чувство такое, будто я куда-то иду, но не туда, что-то делаю, но не то, кого-то слушаю, но не того. Словом, пока искал себя — забыл деда.

Откуда-то Вася Тетерев вывернулся:

— Это у тебя, Барбин, оттого метания такие, что в общественной жизни ты малоучаствуешь. Я это тебе и после собрания говорил. Надо активнее участвовать в общественной жизни. Это тебя очень поднимет. Я ведь тоже через это прошел. И у меня в раннем детстве так было: то мне хотелось быть очень хитрым, вертким и ловким, то, наоборот, резким, прямым и принципиальным. И я думаю, мог бы я, как ты, запутаться. Ну, а секретарская работа меня сформировала, — покашлял Вася, воздух ладонью, как собачку, погладил: — заботу о людях во мне воспитала. Ты вот понял ли, Барбин, из какой беды я тебя вытащил?

— Спасибо, — говорю. — Как не понять — понял.

— В принципе, Барбин, очень хорошо, что ты уже включился в самодеятельность. Но сейчас для тебя этого мало. Я дам тебе еще комсомольское поручение. Это очень важно. Ты сам увидишь, как это сразу поднимет тебя.

Уж на что было в этот час радостное настроение у меня, кажется, заставь на лямке против течения тащить теплоход — потащил бы. И даже с песней. А от Васильевых слов я скис.

— Может, Тетерев, хватит с меня пока одной самодеятельности, — говорю. — Не наваливай на меня сразу целую гору.

Вижу, на лице у Васи страдание.

— Да нет, Барбин, надо. Я подберу тебе что-нибудь по силам.

И скорее ходу от нас. Понимаю: трудно ему другим давать поручения. И еще понимаю: если чем он теперь нагрузит меня, так я тоже легко отдалась. Сам же он приучил к этому.

Пошел Вася и вдруг воротился:

— Да, вот что, Фигурнов, в Нижне-Имбатском нужно сгрузить сто двадцать четыре места и есть заявка на погрузку тридцати двух мест. Все документы я пригото-

вил. Организуй, пожалуйста. А я посплю пойду, просто терпения нет никакого, глаза слипаются. И что-то знобит меня.

Фигурнов — старший матрос, и боцмана, при надобности, он всегда замещает. Остались мы. Петя, Петр говорит:

— Придется с подвахты ребят еще разбудить. Так нам не справиться, долго заставим стоять теплоход. Давай уговоримся: я буду в трюме, а ты за грузом следи на берегу. Трапы — тоже твоя забота.

Пошел я будить матросов из очередной подвахты. Встают, хотя и ворчат. Только Шахворостов сразу вскочил горошком.

— Вот, — говорит, — спасибо. Хорошо, что разбудил. В Нижне-Имбатском мне позарез на берег нужно.

— Тоже прекрасно, — я говорю, — на берег и будем кули выгружать.

— Я не буду. Мне нужно в село сходить.

— Мало ли что!

— Да пойми же ты... к девушке!

Смех разобрал меня, такое встревоженное было лицо у Ильи. А влюбленности в нем чего-то я не заметил. Сразу представилось мне, как он, этак сверкая белками, с девушкой своей разговаривать будет.

— Сходишь, если успеешь. Вот в подарок ей двадцать кулей крупы и сахару отнеси. Будет рада.

А он — без шуток:

— Грузить не буду. Пойду в село. Ты чувств человеческих, что ли, не понимаешь?

Слово за слово, и чуть до ссоры у нас не дошло. Он один не станет грузить — представляете, скандал какой ребята подымут? И тут как-то обмолвился я, что вроде за старшего буду на берегу. Илья моментально и ухватился:

— Тогда так — чего проще! — я сразу же удеру, а ты, при случае, скажешь ребятам: по делу боцман послал. Кто тут следствие наводить будет! Сумею пораньше вернуться — тоже поработаю. А не то, ну, Костя, что тебе самому стоит за товарища лишних двадцать кулей на берег снести? Эх, был бы я такой богатырь, как ты!

А «Родина» к пристани уже разворот делает и подходный гудок дает. Спорить больше некогда. Побежал я в пролет, готовить трапы. С Тумарком Маркиным спустили их с подвесов. Грохнул якорь, теплоход весь затрясся. Ждем, пока судно подтянется к берегу поплотнее. Владимир Петрович наверху командует, в рупор кричит, машинный телеграф названивает. От воды теплый рыбный запах идет. Вот удивительный этот запах! В реке он есть, а зачерпни воды в ведро — ни чуточки. И еще я заметил: чем теплее вода, тем сильнее она рыбой пахнет. Всикпятить весь Енисей — наверно, отличная уха получилась бы.

Люблю я, когда теплоход медленно-медленно к берегу прижимается. Ты стоишь у борта и заметишь на дне какой-нибудь светлый камешек. И вот он помаленьку все приближается, приближается, форму свою меняет, а потом и вовсе под корпус теплохода уйдет. Ты новый камешек выбираешь. Еще новый. Еще... И такое у тебя впечатление создается, словно не лебедка тросом подтягивает теплоход к берегу, а ты его тянешь глазами от камешка к камешку.

Дождичек все брызгает. На берегу стоят шесть пассажиров. Женщины. А вещей при них — горы. Без вешей женщины не могут ездить.

— Бросай трапы!

Это Владимир Петрович кричит. Теперь его забота кончена, он может идти отдыхать. Или позвать к себе, в штурманскую каюту, начальника пристани и вместе с ним пить чай. Начинается наша работа, матросская.

Сбрасывать трап, пока он по роликам катится, — быстро. А когда в реку одним концом окунется, тут заминка. Надо вытаскивать на берег, а иной раз и в воду, и подтягивать трап за веревку. В жаркую погоду это просто приятно. В злую непогоду — тоже хорошо. Борьба с природой! А вот в такую моросявку — ни рыба ни мясо. Ни борьбы, ни удовольствия. Мокрая рубаха к плечам прилипает, и руки от этого становятся как связанные. Но в этот раз мне даже мокрая рубаха не мешала, и я удивлялся, чего Тумарк Маркин с Длинномухином ежатся.

Не успели мы трап наладить, мимо нас — Шахво-

ростов. Как козел на берег махнул, затрещал каблука-ми по гальке, в гору понесся. Длинномухин спрашивает: «Куда это он?» Тумарк пожимает плечами. Ну что тут будешь делать? Говорю: «Не знаю. Кажется, Владимир Петрович куда-то послал!»

Женщины с берега со своими узлами и с чемоданами на теплоход потянулись.

— Стоп, — останавливаю их я, — обождите, гражда-ночки. Вы куда? Не знаете правила: сперва погрузка-выгрузка, а потом пассажиры? Будьте покойны, на бе-регу вас не оставим.

— Да ведь дождик идет!

— А мы, тетеньки, что — работать будем разве под крышей?

Представляете, если пустить, как они будут мешать со своими узлами? А тут нужно с выгрузкой быстрее развернуться. Одним словом, вежливо оттеснили их от трапа. Подал ребятам сигнал: «Начинай!» И не вытер-пел — сам побежал в трюм за кулями, согреться. У тра-па вместо себя Длинномухина поставил. Побоялся: на-валят ему на спину тяжелый куль — пополам переломят парня, такой он тонкий и высоченный.

Люблю работать! Это не то, что выполнять скучные, тоскливые Васины поручения. Люблю, когда идешь с грузом! Дыхание у тебя чуть-чуть спирает, и сердце по-стукивает: тук, тук, тук! А мускулы становятся твердые, неподатливые. Внутри же, в душе, всегда звучит какая-нибудь веселая песенка. Первый куль несешь, все еще ты как будто скованный, плечи тебе жмет, поясницу тя-нет, шею режет. А разомнешься, разогреешься — тела своего совершенно не чувствуешь. Будто весь ты — это только глаза твои, сердце и дыхание. И еще: в ушах веселая песенка. А когда работаешь не один и бригада дружная, тогда особый задор. Не отстать, обогнать, обогнать, красивее принять груз, с ним красиво пройти и красиво сбросить. Тут бывает большая разница, можно сказать, свое художество. Иной положит куль вдоль спины, заведет руки назад, за углы куля держит-ся, а сам согнется в три погибели и бежит. Может, ему и не очень тяжело, а смотреть на него — нет радости. Потому что нет красоты в его труде, в его движениях.

Нет осанистости. И такой только сбивает настроение у всей бригады. А другой — ловко бросит себе груз на правое плечо, поближе к шее, левой рукой в бедро упрется, спина прямая, взгляд вперед, а не под ноги — и идет с широкой, развернутой грудью, шаги печатает. Картинка! Только поглядишь на него, и всякую усталость у тебя снимет. Самому так же красиво пройтись хочется.

Здорово я в этот раз нагрелся, разрумянился. Пожалуй, редко когда еще приходилось мне работать с таким удовольствием и с такой радостью.

Междурочим, на верхней палубе, я заметил, стояла Шура, хотя на больших пристанях чаще всего почту ей прямо в каюту приносят, а время было такое, что еще спать бы да спать. И оттого, что Шура глядела, как мы работаем, мне было особенно весело и тепло. И сам не знаю, почему хотелось, чтобы Шура обязательно внимание обратила, как я ровно и гордо с кулем на плече иду.

А потом Шура исчезла, и мне словно бы холоднее сразу сделалось. Давит груз на плечо, и руки сами тянутся, чтобы поскорей его сбросить. Вот интересная штука-то!

Дали первый гудок. Женщины с узлами опять на трапы полезли. Длинномухин остановить не может. Я на помощь. Оттеснил на прежние позиции. А погрузка — уже к концу. Малость погодя — и второй гудок.

Вижу: снова Шура на палубе. И снова у меня по сердцу что-то тепленькое проползло. Развернулся я в красивой позе, приглашаю теперь уже сам пассажирок. К месту из какой-то детской сказочки вспомнилось:

— Гуси-лебеди, домой!

Рукой помахал, словно в ней была хворостина. А одной из женщин даже чемодан поднес: «Будьте любезны, гражданочка!»

Третий гудок. Сверху команда: «Убрать трапы!» Фигурнов спрашивает: «Все в порядке, Барбин?» Отвечаю: «Как часики». И вдруг ударило в голову: нет Шахворостова. А сказать, не сказать — не знаю. Сказать? Тогда получается: это я отпустил его самовольно. Не сказать? Вдруг отстанет Илья. И будет на совести у меня, почему не сказал. Запутался я в мыслях своих.

У трапов поперечный зажим развязываю, а сам копаюсь, копаюсь, время выигрываю. Фигурнов злится:

— Да чего ты там возишься?

— Ну, узел, — говорю, — затянулся.

Владимир Петрович сверху тоже торопит. Вижу, делать нечего, нужно снимать зажим. Сбежал на берег в мокрый песок, взялся, будто кантую трап, а по сути дела препятствую матросу, который за другой конец на теплоход его тянет.

— Барбин, ты трап держишь, что ли? — кричит.

Отпустил. А у самого в голове мысли, как зайцы, мечутся. Хуже всего, что сказал я сам Длинномухину, будто Илья пошел по поручению Владимира Петровича. Черт меня за язык потянул!

А пристанские мальчишки трос с причального столба уже скинули. Лебедка у теплохода на холостом ходу стучит.

— Поднять якорь!

Цепь по железной обшивке скребется, словно через сердце у меня ее протаскивают. Носом в реку помаленьку «Родина» разворачивается. Винты заработали, в берег волна ударила, рыбачьи лодки сразу на ней заплясали. Штурман Владимир Петрович, матросы — все вперед глядят, ждут, когда якорь выйдет. И тут, пожалуй, вижу я один, никто более — с берега кубарем летит Шахворостов. Прыгнул в чью-то лодку, шестом нажал раз, другой, и — к корме теплохода, успел!

Отыскал я его.

— Ну и свинья ты, — говорю, — дать бы тебе в ухо за это!

Он ладошкой только прикрылся!

— Порядочек, Костя. Зато — полный порядочек. — И подмигивает.

А я отошел от него сам не свой. Тридцать три куля вытащил — не устал, а тут коленки вдруг у меня задрожали.

Поднялся наверх, стал у перил, глотаю речной воздух. А он мягкий такой, прохладный, с мелкой дождевой пылью. Прежняя радость стала ко мне возвращаться: ладно, что все хорошо обошлось. Вдруг замечаю: Ма-

ша. Тоже остановилась у перил. Но далеко от меня. Глядим друг на друга попеременно, а глазами никак не встретимся. И у меня почему-то нет вовсе желания подойти к ней, поздороваться.

Подошла она сама:

— Здравствуй, Костя! Тебя что-то совсем не видать.

Пожал я плечами: «Кому как». Дескать, говори дальше. Жду. Хочет — пусть обиду свою выскажет. Только у меня-то на нее обида во сто крат большая. Но я не стану начинать объяснения.

Все же повернул я к ней голову. Эх! Вечная ее смешинка в самой глубине глаз.

Не знаю отчего, но руки и ноги у меня сразу стали какие-то тяжелые, будто мокрая глина. Понимаете, как ни борюсь с собой, а к Маше у меня два отношения: одно — она старый товарищ мой, а другое — не я, а она порвала нашу дружбу.

Приготовился я, коли начнет Маша, все в лицо ей вылепить. И вдруг она говорит:

— Костя, куда бегал Шахворостов и почему он чуть не отстал?

Вот так приготовился! Вот так понял я, зачем она ко мне подошла! Нету прежней Маши, не стало начисто. И тут другого ничего у меня не нашлось.

— Куда Шахворостов ходил? Повидаться, — говорю, — со своей милой девушкой. А рас прощаться было, наверно, с ней нелегко.

— Костя, зачем ты правду прячешь? И еще подумай: зачем ты с таким оттеночком про девушку говоришь? От Шахворостова тоже занял?

— Занимать мне ничего не нужно. И сами с усами. Но, если вышел «оттеночек», — говорю, — считай: виноват, не подумал, таких оттеночков я сам не люблю. А куда Шахворостов ходил, если тебе интересно и право на это есть, его и спрашивай.

Маша долго, очень долго молчала. Потом так, вроде бы про себя:

— Хотелось мне, Костя, чтобы ты с Шахворостовым поговорил. Как с товарищем. А ты не хочешь. Разве лучше, если и с ним снова, как с тобой, будет капитан разговаривать?

Жаром всего меня обдало. Но из губ удалось все-таки какую-то улыбку сложить.

— Не ты ли скажешь об Илье капитану?

— Возможно.

Никогда я не видел Машу такой спокойной. Мне по-чудилось в этом ее ответе ясное: «И о тебе это тоже я рассказала капитану». Вот как! Тогда и я медленно-медленно говорю:

— А почему ты считаешь, что я про Шахворостова неправду сказал?

— Почему? Костя, он вовсе не такой человек, чтобы на свидания с девушками бегать.

И опять мы оба замолчали. Не знаю, по какой причине Маша, а я потому, что вдруг дошло до меня: да, это так.

Маша спать начала первая. И снова о таком, чего я не ждал:

— Уважения к людям нет у нас. В Нижне-Имбатском кто-то женщин-пассажирок гусями назвал, хворостиною на теплоход стал загонять, а до этого под дождем час целый мокнуть заставил.

Ага! И это заметила? В третьем лице говорит. Хочет, чтобы в первом лице сам я сказал? Пожалуйста!

— Все это я сделал. Подумаешь, какая обида: «гуси-лебеди!» А в руках у меня и хворостины никакой не было, для смеху ладошкой пустой помахал. И насчет дождя — никто пассажирок этих из дома не гнал так рано на берег. Могли себе превосходно до второго гудка дома под крышей сидеть. Долго ли войти на теплоход!

— Костя, а ты сердце человеческое, бесспокойное в расчет не берешь? Как же они усидят где-то в деревне, когда теплоход на пристани уже стоит! Конечно, у них думы такие: «А вдруг уйдет?» Ведь расписания мы сами не всегда точно придерживаемся.

— Не знаю, — говорю, — чего ты хочешь? Эти тетки теперь уже сто раз высохли и думать забыли про дождь. Будто в жизни их, кроме как сегодня на пристани, и дождем никогда не поливало! Все сделано, Маша, по

правилам. Хоть самого Ивана Демьяныча спроси. Справа погрузка, потом — пассажиры.

— «По правилам...» Костя! А с Шахворостовым вы в Красноярске пассажиров на теплоход сажали за деньги — это тоже по правилам?

— Нет, не по правилам, — говорю, а внутри у меня колючий комок какой-то разрастается, страшно недоброе чувство к Маше. — Нет, не по правилам. Только зачем нам с тобой, после вчерашнего, снова открывать комсомольское собрание? И еще: зачем тебе хочется обязательно приплетать ко мне Шахворостова, когда я один все это делал?

Выговорил — и чувствую: сейчас мне в особенности врать противно, защищать Шахворостова. И еще противнее, что грубость свою вовсе нечем мне оправдать.

А у Маши в глазах огоньки погасли, лицо стало грустное. Она ничего больше не спрашивает. Но я теперь уже сам говорю, потому что дико на тех словах остановиться.

— У матроса, Маша, сама знаешь, заработок небольшой. А тут было все по добруму согласию. И я честно заработал, и пассажиры довольны, и государству убытка нет. А работал я как? На что сильный, и то плачи до сих пор болят.

Маша головой тихо покачивает:

— Каждый человек, Костя, у нас гордится своим трудом и трудом своих товарищей. Что же ты на комсомольском собрании не рассказал открыто и гордо, как ты — пусть только ты, а не с Шахворостовым — в Красноярске на посадке пассажиров хорошо поработал? — Не дождалась от меня ответа и снова: — Ты говоришь, Костя, по добруму согласию? Люди купили билеты по цене, которую установило государство. И все. Зачем же еще им «добroe согласие» матроса? Говоришь: «Вещи носил». А за подноски вещей по сто рублей не берут. На это есть тоже государственные расценки. Просто ты отнял хорошие дешевые места у кого-то другого, кто имел на них такое же право. И получается, что ты отнял деньги у своих пассажиров. Так ведь, Костя? Да, конечно, это «добroe согласие». Только в чем согласие?

Нечего, ну совершенно нечего мне на это Маше сказать. А она все грустнее становится.

— Говоришь еще, Костя, что государству убытка нет. И это неправда. Государству есть убыток, есть оттого, что у него одним честным гражданином стало меньше. Сегодня ты кого-то за деньги по билетам прошел, а завтра — проведешь и совсем без билетов. Грань тут уже небольшая. Я вчера не смогла об этом сказать, а сегодня хочу, открыто, в глаза, и как товарищ...

Если бы насчет грани не прибавила Маша, я бы стерпел, так, как терпел на собрании. С той только разницей, что я знал: там меня по Васиному плану «прорабатывали», а тут действительно от самого сердца идет разговор. Машины слова о «маленькой грани» все смели начисто! Если так она теперь меня понимает... Если думает: Костя Барбин — вор... Довольно! Учителей у меня и без нее хватит. Со Столбов это началось — теперь закончится.

Развернулся я этаким фертом, руку Маше тиснул, аж она вскрикнула, растянул на лице широчайшую улыбку и по-лягушечьи квакнул:

— Бл-гдарю! Будет еще что-нибудь?

Она отступила, потом снова метнулась ко мне:

— Костя... Костя, да как ты можешь?..

Но я смеялся. Вернее, выжимал из себя смех.

И тогда Маша тихонько стала отодвигаться, отодвигаться от меня, перебираясь руками по мокрым от дождя перилам.

Ушла.

Спустился и я к себе. Лег на постель. Хотел думать, но никаких мыслей не было. Утренняя радость пропала.

А в иллюминатор лился белый свет, живо плескалась река и, хотя солнца не было, по стене бегали нежаркие зайцы. И от этого злость, обида, досада и прочая дрянь в душу тоже не лезли. Получился я как бы пустой.

Так я долго лежал. А когда пришел в себя по-настоящему, глянул на ноги. Лежу в ботинках.

Глава двенадцатая

ПРИРОДА НЕ ТЕРПИТ ПУСТОТЫ

Илья Шахворостов сказал: «Плюнь на все — береги свое здоровье». Сказать легко, а как это сделать? И даже не сделать, а только повернуть свои мысли на этакий лад. Илья еще прибавил: «Не понимаю, чего тебе надо? На собрании сошло как с гуся вода. Так оно и должно было получиться. На полсотни ты пострадал? Сам виноват. От собственной глупости. Ну, уж если хочешь, так и эту полсотню возьму на себя. По-дружески. Так, как и ты меня выручаешь всегда». Нашел тоже чем поднять настроение! Будто я какой-нибудь Лепцов и деньги для меня дороже всего.

Фигурнов — тот иначе понял: «Знаешь, ты себя не приневоливай. Жди, пока грусть сама испарится. Душа у человека, она насилия не любит, она сама себе, когда нужно, место находит». Это я-то, Костя Барбин, должен ходить и прислушиваться, где и что делает у меня душа, и ждать, когда что-то там испарится!

Тумарк Маркин так просто принес шахматную доску, расставил фигуры и снял одного своего коня: «Давай поиграем, Костя». Я вам, кажется, уже говорил, что в шахматы я играть не умею и не люблю. Но все же разбираюсь, какая фигура что значит. Спрашиваю Тумарка: «А ты знаешь, что я, даже не глядя на доску, победить тебя могу? Зачем ты лошадку снял?» Тумарк туда и сюда, вроде: «Да это я нечаянно...» А мне понятно: хотел человек пятачок подать на бедность.

Вася Тетерев подходил несколько раз: «Барбин, а что, если тебя ввести в состав редколлегии стенной газеты? Я думаю, тебя это очень поднимет». Он и забыл вовсе, как меня однажды, еще на «Лермонтове», выби-рали уже в редколлегию и как тогда я ничего в ней не делал.

Он заботился сейчас только об одном: чтобы не сам я «поднялся», а «подняло» бы меня какое-нибудь его поручение. И это даже не ради галочки в отчете, а от глубокой веры в силу такого поручения.

В общем, на теплоходе все помаленьку и каждый по-своему судьбой моей и настроением моим интересовались. И всяк давал свои советы. Но все они вместе сложенные пользы не давали никакой. Только на кухне Лида теперь лила мне все время в кашу тройную порцию масла, и от этого, надо думать, польза была.

Короче говоря, все как-то старались меня наполнить, а я, сам не знаю почему, оставался пустой. Нес вахту, делал все, что полагается вахтенным, а чувство было такое: бездельничаю!

Для моей ли это силы раз в день шваброй по палубе покрутить или трапы сбросить? А выгрузка не на каждой пристани.

Очень люблю я смотреть на реку, на берега. Но тут пошли такие прямые и похожие друг на друга плесы, что разве только один Иван Демьяныч мог бы различить их, не заглядывая в лоцию. И потому мне даже Енисей казался скучноватым, не таким, как всегда.

Протомился я до самого Туруханска. Город маленький, старый, деревянный, и рассказать о нем нечего. Разве только то, что жили здесь в ссылке Яков Михайлович Свердлов и Сурен Спандарян, и в их домиках теперь устроены музеи, куда обязательно заходят все проезжающие. Я каждый раз захожу. Посмотришь на стены, на фотографии, на вещи и сразу представишь старое, царское время, как мужественно люди боролись с самодержавием. Вот и теперь поднялся я на берег, постоял с народом в музеях, послушал, что рассказывает экскурсовод. Хотя и не первый раз слышу, но все равно интересно. А потом побродил по улицам и, между прочим, зашел в аптеку купить зубную щетку.

С этого и началось.

В аптеке последнюю щеточку кому-то продали как раз передо мной, сказали: «Есть в промтоварном магазине». Но магазин закрыли у меня перед самым носом на обеденный перерыв. Тогда я на базаре купил кедровых орехов. Попробовал — вкусные. Набил ими оба кармана в шароварах, иду, щелкаю, но, представьте, все до единого орешки теперь попадаются только гнилые. Во рту стала мерзость такая, что хоть наново язык заме-



ний. И я вернулся снова на базар, купил маленький стаканчик свежего, жидкого меда, чтобы пересилить во рту ореховую гниль, поднес к губам и... не знаю как — опрокинул себе на тельняшку. А стаканчик выпал из рук, ударился о камень и разлетелся вдребезги.

Торговка — в крик: «Плати, матрос, убытки!» Что ж, справедливо. Пожалуйста. И хотя, извиняюсь, все пузо у меня мокрое, липкое, я — руку в карман, чтобы за мед и за разбитый стакан одно рассчитаться, но карман до отказа набит орехами, а все деньги у меня лежат где-то там, под низом. И в это именно время «Родина» дает второй

гудок. Я выгребаю орехи на прилавок, они облепили мне пальцы, никак сбряхнуть не могу, торговка сердится, вокруг смеются. Мимо бежит Длинномухин, цап меня за тельняшку: «Айда скорее...» И тоже вскрикнул — перепугался липкого: «Барбин, что с тобой?»

А дальше просто не поверите: выдумываю, скажете, сюжет для комедии в кино. Сколько раз, бывало, выходил я на берег в Туруханске, но никогда не видел там милиционера. А тут, точненько как в кино, заверещал над ухом его свисток. Начни объяснения, скоро никак не отвяжешься, а третий гудок вот-вот прогудит, до теплохода же не так-то близко. И приударили мы с Длинномухиным во всю прыть... Ну, сами понимаете, что тут поднялось! Тетки-торговки вопят, милиционер свистит, мальчишки тоже, собаки — а в Туруханске их на каждый двор по пятку, — собаки лают, доски на высо-

ких тротуарах под ногами, как барабаны, гудят. Длинномухин легкий, вырвался вперед, но дядя какой-то с мотком веревки на плече понял, видимо, так, что длинный парень обокрал меня, а я его догнать не могу — и запустил вслед Длинномухину свою веревку. Тот ногами запутался в ней. Ну, юзом, понятно, с разгона так и шаркнул с тротуара в канаву. А там жидкая грязь...

Комедия на этом кончилась. Смешного больше ничего не было. Началась драма. Вернулись мы на теплоход оба в грязной одежде. Длинномухин еще и с поцарапанным лицом, а за то, что вбежали мы по трапу в самый последний момент, когда конец у него висел уже в воздухе, Владимир Петрович сверху в рупор называл нас довольно-таки выразительно. Шахворостов зато сказал с удовольствием: «Ну вот, и не я один так делаю».

Обо всем этом я рассказал вам потому, что сразу после этого мое томление как пробку из бутылки шампанского вышибло. Перетряхнуло, и пришла хорошая веселость, совсем не такая, какую все эти дни я на себя силой натягивал. Пустота заполнилась превосходнейшим настроением. А ведь могла бы вместо него и дрянь заползти. По закону-то физики «природа не терпит пустоты», и ей все равно, чем ее человек заполнит.

Скинул я залитую медом тельняшку, пошел в умывальник. Там на полочке лежит кем-то забытая мыльница. Еще утром бы я поглядел на нее скучно, да так и оставил бы. А тут взял, привязал к крану за ниточку и записку еще прикрепил: «Ay! Где мой хозяин?» Мне очень хотелось, чтобы и еще кто-нибудь посмеялся.

Вы, наверно, умеете делать бумажных чертиков, в которых подуешь, и они подымут свои рога? Дети страшно бывают рады, когда для них неожиданно изобразишь из листа бумаги такое чудо. Или — очень простой фокус. На глазах у всех «втереть» себе у локтя в кожу голой руки копейку, а потом «выщипнуть» ее у вас, допустим, из носу. От этого не только дети, но и взрослые смеются, особенно девушки. И я пошел на корку теплохода, где всегда бывает больше всего детворы и вообще скучающих людей, и показал им не только

эти, но и другие еще веселые штуки. Вроде того, как из носового платка можно десять различных предметов сделать.

Тут меня, за этим занятием, и застал знакомец мой, седой инженер из экспедиции, Иван Андреич.

— А, вон это кто, — говорит, — здесь черной магией занимается. Впрочем, я тоже могу.

Сцепил плотно кисти руки и протягивает какой-то девчоночке: «Ну-ка, шустрая, сосчитай, сколько у меня пальцев?» Та проверила: девять! Еще раз, и еще раз: все равно девять.

— Дедушка, ты калека?

Разнял руки Иван Андреич, показывает — все до единого пальцы на месте: «Ага! Что? Вот и я, оказывается, фокусник».

Долго смешил малышей. Потом стал уже и отмахиваться: «Хватит, хватит!»

Мимо нас Шура прошла. На минутку остановилась, поулыбалась. И я не понял, кому это: мне или Ивану Андреичу? В этот момент мы с ним рядом стояли, а смешил детишек он один. Шура ни одного слова не выговарила и никакого мне знака не сделала, пошла себе дальше спокойненько. Но, если бы не Иван Андреич, я бы за ней пошел. Зачем — не знаю. Просто поговорить. Приятно, весело. Не все же мне с детишками забавляться! Но оставить одного Ивана Андреича мне показалось неловко, он все время со мной переговаривался, и я только глазами проводил Шуру. А Иван Андреич своими глазами проводил мои глаза.

После этого с ребятами мы повеселились недолго. Иван Андреич позвал меня:

— Зайдем-ка, парень, в каюту. Устал я. Помоги.

Не знаю, почему Иван Андреич сказал: «Помоги». Шагал он твердо, сам, без всякой моей помощи. Зашли. Первый класс, конечно. Каюта одноместная. Вся койка и столик бумагами завалены. Готовальня раскрытая, светлой сталью циркули и рейсфедеры поблескивают. К стене привалены мешки брезентовые, синий поношенный комбинезон поверх них лежит. В общем, сразу почувствовал я: каждый вершок в этой каюте мыслью, думой большой пропитан, любой предмет — такой же

труженик, как сам хозяин. Я понял тут: позвал он не зря. И я вам сейчас вперед уже объясню: весь этот наш разговор я потом записал прямо от слова до слова, потому что, когда меняешь в чужой речи слова, вроде и сам тот человек другим становится. А Ивана Андреича ни на какого другого я переменить бы не смог.

Посадил он меня к окну, на постели сдвинул вбок свои бумаги, полуприлег на подушку, затолкал ее себе под мышку.

Туруханск виден совсем уже вдалеке: серые деревянные домики на зеленом берегу и полосатая «колбаса» мотается над аэропортом. Где-то за рекой Нижней Тунгуской столбом дым стоит, опять горит, пылает тайга. С аэродрома сорвался, полетел в небе маленький, как мошка, «ПО-2». Наверно, в патрульный полет, выяснить, широко ли разлился лесной пожар. Погасить его без дождя все равно вряд ли погасишь. Нечем. И некому. Проезжих дорог в этакой глухомани нет. А с самолетов только парашютистов можно там выбросить. Много ли выбросишь? Что они сделают среди болот и гор, если пожар разойдется на двадцать, тридцать километров, а то и на всю сотню?

Смотрит Иван Андреевич на этот дым. Видать, очень он любит тайгу и больно ему, что так сильно горит она, бедная.

— Ну вот, и опять наблюдаем варварство двадцатого века. Когда же все до единого люди в Сибири это поймут? Когда научатся беречь от огня леса, народное достояние? Ведь не сама же тайга вспыхивает! Чьи-то руки спички зажигают сперва. Разгильдяйские, равнодушные руки. Что тайга! Она, мол, здесь несчитанная, гори сколько хочешь, никогда вся не выгорит. Да-а... — сел попрямее, тронул седые подстриженные усы. — А я ведь, парень, в Туруханске проводил Николая Петровича. Пожалуй, как раз куда-то туда ему нужно лететь. Ну, пусть сверху посмотрит своими глазами, тогда, может быть, жалость и в нем шевельнется. Эх, Николай Петрович: «Покорить! Победить! Заставить отступить тайгу!» Будто враг она злейший... Зачем ее побеждать, если на человека она и не нападала? Зачем оттеснять ее, когда на правах самого близкого друга она рядом с

людьми быть должна? Ну, это мой конек, парень, ты это можешь не слушать. Впрочем, слушай. Ты ведь тоже любишь лес, любишь природу. Защищай их всеми мерами. Даже, при случае, с кулаками. Как тебя звать? Хочется мне покрепче с тобой познакомиться.

— Барбин. Костя.

— Хорошее имя, — он придинулся поближе к окну, помахал рукой. — Ну, счастливого тебе пути на крыльях, Николай Петрович! Когда теперь снова встретимся?

— А я думал, Иван Андреич, вы с ним из одной экспедиции.

— Правильно. Экспедиция у нас одна. А отряды разные. И задачи у каждого тоже свои. Мне вот в Игарке обязательно нужно остановиться, побывать на мерзлотной станции, а потом поеду почти до самого океана, словом, до того места, где практически кончается вовсе течение реки.

— На «мерзлотке»-то, — говорю, — интересно. Я спускался в шахту, так там, в глубине, вся почва, как бурундук, полосатая — пластик глины, пластик льда. И так, говорят, хоть на сто метров врубайся в землю — то же самое будет. А в шахте у начальника «мерзлотки» лежит, хранится свиной окорок. Может тысячу лет пролежать. Мамонтов же выкапывали целеньких и котлеты потом из них делали.

— Ну вот, — протянул Иван Андреич, — то ты взрослый парень совсем, то ребенок. Смешал свои толковые наблюдения со всяческой чепухой. «Котлеты из мамонтов!» Это, Костя, тебе наболтали, а ты и поверили. Что ж, если Александр Михайлович тот свиной окорок еще не скушал — тысячу лет лежать ему не дадим, попросим зажарить. Но мне от Александра Михайловича нужно кое-что поважнее. У него есть интересные данные о поведении вечной мерзлоты вблизи больших водоемов. Придется ведь нам со временем строить плотину в далеких низовьях Оби, а может быть, и Енисея. Как там поведет себя мерзлота?

— А чего ее спрашивать, мерзлоту, — говорю. — Поставит человек плотину и будет стоять. Насыпать потолще, камней побольше в нее навалить, спаять бетоном. Теперь уже это дело плевое.

— Смотри-ка ты, «плевое»! Вот не думал я.

И кажется мне, что Иван Андреич просто поддразнивает, видит, какое резвое у меня настроение, и хочется ему весело поболтать, посмеяться над хвастливым парнем. Но я совсем перед ним не хвастаюсь, я чувствую, как играет сейчас силой большой у меня каждая жилка, и переношу эту силу на весь наш народ. Ну подумайте сами, если нужно, если захочеть, почему не построить?

— Я не говорю, Иван Андреич, что очень быстро поставить. А вообще.

— А вообще там можно плотину построить?

— Можно!

— Силы хватит?

— Хватит!

Вынул тихонько Иван Андреич из готовальни блестящий циркуль и начал им на листке бумаги круги выписывать. Не как чертеж, а просто, знаете, такая бывает привычка, в разговоре чем-нибудь свои руки занять.

— Да, силы, допустим, построить такую плотину действительно хватит... Ну, а как ты думаешь, Костя, если воздвигнуть плотину на вечной мерзлоте — ты сам сказал: «Хоть на сто метров врубайся в землю — то же самое будет» — разольется огромное море воды, хотя и холодной, но все-таки теплее, чем мерзлота, и будет эта вода помаленьку, год за годом, греть дно у нового моря... Как ты думаешь, не растает тогда мерзлота под плотиной? Не прососет где-нибудь в глубине мерзлоту теплой водой? Не рухнет тогда по недомыслию инженеров плотина, которую у народа сил хватит построить?

Сами понимаете, тут замялся я. Конечно, можно бы и поспорить, сказать: «Раз поставят люди плотину, так, значит, на такую глубину, что никакая вода под нее не подберется». Но это уже был бы у меня подходящий спор с Ленькой, а не с Иваном Андреичем.

А он словно бы и не заметил, что я споткнулся.

— Да, ведь я и забыл, что науку ты не признаешь. Науки, знания — для белоручек. А нам — потяжелей бы куль на плечо. Видел я, как лихо побрасывал ты их в Нижне-Имбатском. Силенка действительно у тебя подходящая. Одного, правда, не понимаю: не так уж

часто матросу приходится тяжелые кули выгружать. И тогда, Костя, мне так кажется, ни сила твоя, ни ум твой не действуют — просто ты загораешь.

Страшно обиделся я на эти слова:

— Так, выходит, Иван Андреич, по-вашему, я лодырь, чистый бездельник? Ежели интеллигентом быть не хочу, так уж не загорай. И ни минутки не давай себе отдыха. А я делаю точно все, что по должности мне положено. А загораю, когда время есть. Должность матроса это мне позволяет. Законно.

Перестал чертить круги Иван Андреич, внимательно глядит на меня.

— А! Это хорошо, что ты обижаешься. Значит, в душе своей ты не бездельник. Но вот что, Костя, друг мой, скажу я тебе. По должности матроса ты действительно делаешь все, что положено, и не по-казенному делаешь. Но есть еще такая превосходная должность, как говорил Алексей Максимович Горький, — «быть на земле человеком». Шутка сказать! Отвечать не только за порядок и чистоту на палубе своего теплохода, а за развитие, за движение вперед всего человечества. За всю судьбу, за жизнь, за счастье его. По должности человека — это главная его обязанность. Разве матросу не положено иметь по совместительству и такую должность? Разве плоха она? Не увлекает тебя? Не упрекаю тебя ни в чем. Просто разбудить в тебе, разжечь хорошую, чистую зависть к большому делу хочу. Мозг человека дан, чтобы думать, руки — чтобы работать, а кожа — чтобы загорать. У тебя, Костя, отличный загар. Ну, а как остальное? — Он хитренько улыбался. — Эх, парень, как мне хочется «быть на земле человеком»! Да вот и сил уже не хватает, а знаний все еще мало-маловато.

— Ну, у вас-то! — говорю. — Институт закончили. А то и два.

Иван Андреич и вовсе расхохотался:

— Даже три института. И еще «горьковские университеты». Но мало всего этого, парень, ой как мало! Еще очень многому я должен учиться. И учусь. — Он вдруг сердито наступил брови. И усы у него жестко встопорчились. — Нет, парень, при всякой другой — на должно-

сти человека нам следует быть обязательно. Всю силу свою отдаи человечеству, весь свой ум, все сердце отдаи человечеству. Как Менделеев, как Матросов отдаи. Все, полностью! Больше, парень, скажу: отдаи сверх того, что ты имеешь. Непременно сверх того! Заболтался, думаешь, стариk? Как это: «сверх того»? А вот так, друг мой Костя. Чтобы отдать сверх того, что ты имеешь, нужно это приобрести. Приобрести, чтобы тотчас же отдать. И снова приобретать, и снова отдавать. И так без конца. Всегда чувствовать эту свою обязанность — отдавать. И постоянно искать, приобретать, чтобы всегда было что отдавать. Вот так, друг мой. Пути к этому у каждого могут быть разные, а цель одна. Ты на досуге еще сам поразмысли. Размышлять о себе, о своем месте в огромном труде всего народа, о сделанном тобой и не сделанном, о запасах нетронутой силы своей, о лентяе, которого тоже приходится все-таки порой преодолевать в себе, — обо всем этом размышлять бывает, парень, очень полезно. Не пугайся: из речников уходить я тебя не зову, от физического труда не отговариваю, но человеческие свои обязанности, советую, ты пересмотри. Не маловаты ли они для тебя? Ох, жизнь-то у тебя впереди ведь какая большая, да, черт возьми, и какая интересная! Не измельчи ее.

Встал, тряхнул меня за плечо. И надо было встряхнуть. Потому что от слов его малость я ошелел, каким-то другим сам себе показался, каким не привык себя видеть и понимать. Даже на собрании, когда меня прорабатывали. Совсем что-то новое тронул Иван Андреич во мне. Вроде бы до этого я вовсе не думал ничего, а он меня думать заставил. Или — думал я, но как-то так: прыг-прыг с одного на другое; оборвалось, не получилось — тоже ладно, не беда. А теперь я почувствовал: не годится, начал думать — думай серьезно, с ответственностью. Ты не просто Костя Барбин, а человек — штука, оказывается, не простая...

— Вон ведь как разговор наш повернулся. — Это Иван Андреич сказал. Он прошелся по узенькой своей каюте. А шаги неровные, пятками пришмыгивает — старость никуда не денешь, как там ни засияли по-молодому глаза у него. — А я, Костя, зазвал тебя ведь

совсем не за этим. Хотел рассказать просто случай один из жизни своей. Но и для тебя со значением. Впрочем, не случай. Случай — мелко и пошло. А это — очень большое и серьезное по смыслу своему. Ты сиди, сиди. А я буду ходить. Так мне легче рассказывать. Тебе сколько лет?

— Девятнадцать.

— Ну, мне тогда двадцать первый шел. Студент в тужурке со светлыми пуговицами. Петербург. Превосходные лекции известных ученых. Глубины науки. Конечно, не во всех лекциях. Хватало в достатке и всякого мракобесия. Опекунов над нашими душами, парень, секретарей комсомольских организаций и агитпропов не было — разбирайся сам, где «право», а где «лево», и устанавливай сам себе взгляды на жизнь, если родители тебе не установили. Но светлое всегда привлекает. Любимые писатели, философы. Жажда свободы и справедливости. Суровая правда жизни. Надежные товарищи. Короче, наставников у меня было много. А судьей своим поступкам я всегда был только сам. Один. Так сказать, неограниченная монархия духа, хотя как раз в этом году я примкнул к марксистам, вступил в партию большевиков. А это были, между прочим, и годы столыпинской реакции. Читал что-нибудь про такую?

— Изучали в кружке по «Краткому курсу». Знаю.

— Да.. Но читать в наши дни, Костя, это одно, а жить тогда, в те годы, принадлежа к запрещенной политической партии, было нечто другое. Когда-нибудь я расскажу тебе отдельно об этом — сейчас будет слишком в сторону от предмета. Сейчас я хочу только, чтобы ты запомнил, что наши характеры — твой теперь, а мой тогда — кое в чем схожи. Ну вот, хотя бы в этаком подрисовывании собственного «я» для самого себя.

— А что же, — говорю, — гнать самого себя на задворки, что ли, Иван Андреич?

Он тихонечко засмеялся:

— Выходит, я точно определил совпадения в наших характерах. И ты меня тоже правильно понял. Но, друг мой, я вовсе не осуждаю твой характер и не заставляю тебя ломать его. Бывают у хороших и похуже ха-

рактеры. А я на это внимание твое повернул только затем, чтобы ты, слушая — я буду рассказывать мои поступки, — уже на свой аршин мерял, Не подходит ли и к тебе что-нибудь.

Он не сразу потом начал рассказывать, все ходил взад и вперед. И мне даже подумалось, остановится и объявит: «Нет, не могу сейчас. Не стану» — такое у него было лицо.

И еще подумалось: больше сорока лет, по расчетам, прошло, как что-то с ним приключилось, а в память ему, видать, крепко врезалось и рассказывать об этом трудно.

Но Иван Андреич все-таки начал:

— В Петербурге жил я на квартире в простой семье. У мелкого чиновника комнатку, вернее, чулан снимал. Окон в моих апартаментах не было вовсе, а дверей — даже две. Одна на кухню, другая прямо в сени. Домик гнилой, деревянный. Впрочем, комнатка была теплая, как тогда говорили — «с хлебами», а свечи я за свой счет мог жечь сколько угодно. Вся семья у чиновника — жена и дочь Поленька, очень юная и очень красивая. Тихая, скромная. Голубые глаза и серебряный смех. Забота у главы семьи, как деньжонок скопить, собственную дачку в Парголове приобрести, хотя бы сарай дощатый, цвели бы под окном георгины и астры; заботы у женщин — создать домашний уют, подешевле да по-вкуснее накормить всю семью, ну и меня, квартиранта, конечно. Словом, для студента — рай земной. Больше всех обо мне Поленька заботилась. Пока я на лекциях или на сходках, она мой чуланчик, как стеклышко, вы-светлит, одежду мою, белье в порядок приведет. Обедали мы все вместе за общим столом. А завтрак Поленька приносила. Ужин, если я очень запаздывал, тоже ставила в мой чуланчик, накрывала салфеткой и писала длинную записку — наставление: «Скушайте сперва то, а потом это, да если вам покажется, что соли мало, так соль в солонке, а если хотите горчицы — откройте белую фарфоровую баночку, горчицу я заварила свежую. Но лучше с горчицей не кушайте — на ночь это нехорошо». И вот так страницы две-три испишет. Читать немного и смешно и трогательно. Потому что не

из шалости писала Поленька такие записки мне и не просто вкладывала всю свою душу девичью в заботы обо мне — она, парень, любила меня.

И опять Иван Андреич заходил взад и вперед по каюте.

— Но мещанства во всем этом не было ни на волосок. Чистые, человеческие чувства. Правда, мир Поленьки был узок, но его можно было раздвинуть. Она сама стремилась к этому, она жадно слушала каждое мое слово, она пошла бы за мной в огонь и в воду. И не погибла бы. А теперь подумай, Костя, перенесись мыслью в те времена. Хозяин мой, хотя и мелкий, но чиновник, то есть человек все-таки с положением, а я — студент, то есть черт еще знает, что из меня выйдет. А студенты, «скубенты», вообще не в чести у полицейского начальства, для мелкого же чиновника даже пристав — это уже сам бог Саваоф. Дорожи его милостью! Для родителей Поленьки, если бы они угадывали ее чувства ко мне, — страшное горе, что дочь влюбилась в студента. Потому что Поленька — очень милое существо и подыскать ей из своей, чиновничьей среды не так уж трудно было, как тогда говорили, хорошую «партию». О, холостые сослуживцы Степана Степаныча не оставляли Поленьку своим вниманием! Но Поленька любила меня.

Мне захотелось спросить, а сам-то Иван Андреич любил ли Поленьку. Но он заговорил раньше, чем я подготовил свой вопрос.

— Это была, парень, любовь, что называется, «с первого взгляда». Когда я, по газетному объявлению, пришел смотреть их квартиру, мне дверь открыла Поленька. Старших в доме не было никого. Она стала показывать чуланчик, назвала условия, и при этом краснела, извинялась, говорила, что это все, наверно, очень плохо и очень дорого. Сам не знаю почему, но я почувствовал: Поленьке хочется, чтобы я снял комнату. Мне кажется, Костя, тогда я был красив, во всяком случае — молод и цену себе я всегда сам устанавливал очень высокую. Но я согласился на те условия, что назвала мне Поленька, — для моего кárмана это была находка. И мне еще очень понравилось, что Поленька так неот-

ступно глядит на меня, и краснеет, и боится, что я отвечу отказом. В двадцать лет, парень, это очень волнует, это наполняет тебя каким-то необычным чувством, когда ты можешь или свершить великий подвиг, или сделать невообразимую глупость. Нет, это еще не любовь, Костя, это предчувствие, ожидание любви, которая у тебя, может быть, и вспыхнет, а может быть, и нет, но с той стороны, у того человека, ты знаешь, догадываешься — любовь уже есть, зародилась, во всяком случае существует нечто большее, чем у тебя. И это приятно, потому что ты знаешь, что вот сейчас ты оказался сильнее, ты можешь собой управлять лучше, чем может управлять собою тот, другой человек. Все это понятно вот так стало только теперь, в мои шестьдесят два года, а тогда это было простым, безотчетным волнением. Оно было безотчетным, а все же двигало тобою, заставляло поступать так, а не иначе. И я поселился. Мне очень понравилась квартира, и родители Поленьки, и особенно ее неустанные хлопоты, и даже то, что я могу называть ее Поленькой, хотя она величала меня Иваном Андреичем, и то, что тихо, ненавязчиво она любит меня. Это я стал понимать через несколько недель. И месяца от месяца все яснее.

Из всех этих слов Ивана Андреича получалось так, что он-то сам Поленьку не любил, а мне почему-то хотелось, чтобы он любил. Но прямо спросить я не мог, такое суровое и торжественное было лицо у Ивана Андреича. Словно бы так: прищурясь, он смотрит в самого себя. Мне вспомнилось: раньше он говорил, что самым драгоценным в его молодости была одна девушка, потом жена, для которой и все реки текли и солнце светило. И я успокоился, я подумал: «Конечно, Поленька стала женой Ивана Андреича, но были, наверно, какие-то препятствия». И еще подумал, что, например, я — так сразу сломал бы любые препятствия.

— Видишь ли, Костя, что такое любовь вообще — рассказать невозможно. Если хватит таланта, способностей у человека — он может рассказать только об одной любви, о своей любви. Говорить о любви другого — это все равно что выпить глоток вина вместо него и потом спросить: «Скажи, каково оно было на вкус?» Конечно,

общие определения существуют. Для учебников психологии или словарей... Но я имею в виду, парень, живое, трепетное чувство, которое у каждого человека бывает только свое. Как тебе объяснить, почему Поленька полюбила меня? Даже себе я этого не могу объяснить. Как передать то, что ей думалось, когда она прибирала в моей комнате, или писала свои записки, или приподымалась у себя на постели — я это слышал, — когда я очень поздно возвращался домой и, чтобы не разбудить никого, осторожно поворачивал ключ в замке, запирая наружную дверь за собой? Как передать, с какими мыслями молча сидела она впотьмах на своей постели — я это угадывал, — сидела до тех пор, пока через неплотно прикрытую дверь моего чуланчика пробивался на кухню свет от свечи? Всего этого мне никак не объяснить. Но одно я знал и понимал: Поленька очень любит меня.

Иван Андреич перестал ходить, как-то тяжело подсел к окну. Там виден еще был дым лесного пожарища.

— А я не любил ее.

И мне захотелось подняться, уйти, потому что мне стало очень обидно за Поленьку. Иван Андреич, наверно, понял это по моим глазам. Он тихо покачал головой:

— Но я, парень, не забавлялся ее любовью. Нет в мире ничего подлеев правила Печорина: влюбить в себя девушку, а потом ее оттолкнуть. Сделать это с холодным расчетом. Ну, а как назвать, когда такие отношения складываются без всякого расчета? Сами собой. А ты вначале этого даже не замечашь. Если же и замечашь — не вдумываешься глубоко. Кажется: вот у тебя и у нее приятно посгучит сердце, и все пройдет. А скорее всего, тогда вообще даже ни о чем не думаешь, а просто живешь приподнято, взволнованно.

Тут я прямо-таки закричал:

— Да почему же вы ее не любили?

Он ответил не сразу. Будто примерил сперва: можно ли вообще на это ответить.

— Потому что я любил другую девушку, Костя. Очень сильно любил. Наверно, так, как меня любила Поленька. С нею я познакомился на фабрике. Каторж-

ный труд белошвейки. В девятнадцать лет черные круги под глазами. И страшная жажда жизни, большого дела, большого счастья. Я ходил на фабрику, как говорили тогда, «мутить народ». Выполнял поручение комитета партии и веления своей совести. Часто с фабрики мы уходили с Тамарой вместе. Один раз, помню, попали под дождь и долго стояли в каменных воротах какого-то княжеского особняка, и бронзовые львы скалили на нас свои пасти. Впрочем, не имеет значения, как началось. Это всегда начинается как-то вдруг. И очень трудно сказать: «Станьте моей женой». Тамара стала моей женой только спустя пять лет. Когда я лежал в госпитале. Поправлялся от ран. Немцы подкосили из пулемета. Первая мировая война. А Тамара была тогда сестрой милосердия. Из госпиталя мы вышли рядом. И потом — тридцать три года вместе. Красная гвардия и Красная Армия. Деникин. Басмачи. Эпидемия сыпняка, оба в тифу. Голодали. Работали. Учились. Институт красной профессуры. И затем экспедиции, экспедиции... Прожил ли бы я эти шестьдесят два года, если бы не Тамара? И сделал ли бы я хотя половину того, что я сделал, если бы не она? Эх, парень...

Иван Андреич отвернулся к окну. Но мне все же было видно, как по щеке у него покатились слезы. Он не смахивал их. Наверно, думал: «Не следует показывать свою слабость». И я ничего не мог у него спросить, потому что тогда я заставил бы его говорить. Пусть он считает, что я ничего не заметил.

Так мы сидели и молчали. А теплоход стучал дизелями и все шел вперед на север. Переваливал к левому берегу (окна у нас выходили на правый борт), и поэтому все мельче и мельче казались деревья на высоком яру, и все шире становилась голубая полоса реки, а белые щиты створов стали вовсе как пятнышки. Только дым лесного пожара никак не убавлялся. Я тихонько встал и пошел к двери.

Иван Андреич тогда обернулся:

— Постой, парень... Постой... Я ведь чего-то тебе не досказал, — и стал морщить лоб припоминая.

— Про Поленьку.

— Да, конечно. Ведь, собственно, только о ней я и

завел свой разговор. — Он так, будто случайно, потер ладонями щеки. — Ты знаешь, я все-таки понял со временем, что должен уйти с квартиры, из этого славного чуланчика, от этих славных людей, скорее уйти, ну... пока Поленька не написала мне такое письмо, как Татьяна Онегину. Это было бы еще трагичнее. Ведь Поленька не знала, что я кого-то люблю. Я выбрал нелепый предлог для ухода. Сказал, что квартира мне не по средствам, хотя дешевле, конечно, нельзя было съскать и во всем Петербурге. Старики это знали. Но они переглянулись между собой, и Степан Степаныч деликатно ответил, что, пожалуй, можно плату немногого сбавить. Кто его знает, какой попадется потом квартирант? «Останьтесь, Ваня, а мы постараемся...» Но я все же ушел. И был очень доволен, что Поленька не слышала наш разговор. Она ходила на рынок. Я успел съехать до ее возвращения. Тамара нашла мне другую комнатку...

Он говорил теперь, все время как-то останавливаясь не только посреди длинной фразы, но даже иногда и на одном трудном слове. А я, сам не замечая, торопил Ивана Андреича. До Тамары мне не было никакого дела. Меня интересовала только Поленька. Она так и стояла перед глазами. Вот она за столом пишет свои наставления Ивану Андреичу, с чего начинать ужин, а желтое пламя свечи колеблется от ее дыхания. Или — ночью, приподнявшись на локте в постели, слушает, как осторожно поворачивает ключ в замке Иван Андреич. Я даже чувствовал сам, как от железного скрипа колючие мурашки бегут у нее по щеке.

— Ну, а потом-то, Иван Андреич, вы с ней когда-нибудь встретились?

— Да, парень, встретился. В этом и главное. Но это случилось только через двенадцать лет. Сперва я сам не заходил умышленно, а потом судьба меня надолго увела из Петербурга. И вернулся я туда уже в Ленинград. Тамара задержалась в Каракумах, я выехал раньше, чтобы подготовить жилье. Мне обещали ордер. Но поезд пришел ночью, и пока деваться мне было некуда. Гостиницы переполнены. И тогда я вспомнил о своем чуланчике на Крестовском. Даже если он занят,

старики как-нибудь приютят. Поленьку там увидеть я и не думал. Конечно, она вышла замуж... Но дверь мне открыла именно Поленька. Немного испугалась и даже заслонилась рукой, но потом сказала: «А, это вы!» — и пропустила на кухню. Тут, при свете семишиной лампы, мы и поговорили. В комнату она меня не пригласила. Из чуланчика тоже пробивался луч света — значит, там кто-то жил. Я спросил осторожно: «А как...» Задержался, подбирая слова. Но Поленька поняла: «Оба умерли. Давно уже». Было это сказано совсем равнодушно. И так же равнодушно Поленька смотрела теперь на меня. Она не располнела, а, как говорится в народе, только покрупнела в кости. Не было уже и прежней нежности в лице, от губ шли острые морщинки, резкой чертой отделялся второй подбородок. Ей шел тридцать первый год, но можно было дать много больше. Поленька все же поинтересовалась, откуда я приехал. Я сказал: «Из Средней Азии». — «А-а! Говорят, там у вас все очень дешево. Это правда? Вы чего-нибудь привезли?» Надо было понимать эти слова так: на продажу. Мы еще посидели немного, и оба вовсе не знали, о чем еще говорить.

Тут я опять врубился в трудный рассказ Ивана Андреича.

— Так она замуж-то вышла?

— Не знаю, Костя... Наверно, нет. В доме, что называется, даже не пахло мужским духом. И в чуланчике явно жила женщина. Иногда она начинала какую-то грустную песенку. И не кончала, обрывала пение. А Поленька больше прислушивалась к ней, чем к моим словам. Ну, вот, собственно, и все. Переночевал я на вокзале. Когда мы прощались, Поленька сказала: «Заходите». И это было сказано еще спокойнее, равнодушнее, чем о своих родителях — «они умерли».

— А больше вы к ней не заходили, Иван Андреич?

— Нет. Хотя все время жил, и живу теперь, в Ленинграде.

Он стал перебирать, складывать в стопку свои бумаги, захлопнул готовальню. Я понял: парень, тебе пора уходить. Но я все же спросил его об этом. Прямо, но не грубо, чтобы не обидеть человека.

Иван Андреич оставил бумаги:

— Собирался, парень, я не совсем так повести с тобой разговор, да воспоминания, видишь, как далеко меня завели. А еще продолжить беседу нашу я сейчас не могу. Устал. Да, может быть, и не нужно? Главное-то я все же сказал, хотя и не прямо. А ты на себя из этого кое-что примерь. Помнишь, вначале я тебя предупреждал? Не теперь подойдет, так, может случиться, после. Жизнь у тебя только начинается. И девушки на тебя только начинают поглядывать. И какое-то неясное чувство самого беспокоит. А это чувство — может быть, большая любовь, да ты ей имени еще не знаешь. И тебя кто-то любит уже, да ты не угадываешь. Или угадываешь, да признаешься даже себе не хочешь, боишься. Такая пора, такие годы. Но ты, Костя, очень любовь девичью береги. Поломать чистую, святую любовь — это поломать навсегда и душу, жизнь человеческую. Что там сейчас ни говори, как себя теперь не оправдывай, а Поленьке свет в жизни я погасил. Вот поэтому и повторяю. Мотай, парень, на ус. Любовью дорожи. Девичью любовь береги. А сейчас ступай, я чего-то все же устал...

Вышел я от Ивана Андреича очень взволнованный. И ничем другим, а судьбой Поленьки. Из-за непонятой любви пропал человек! Кем она стала: «Вы чего-нибудь привезли на продажу?» Нет, не виноват в этом Иван Андреич. Зря он себя... Просто проклятое прошлое время во всем виновато! У нас теперь такого не случится. У нас всякая любовь обязательно придет к своему счастью. И напрасно пугал, остерегал меня от чего-то Иван Андреич. Говорил, чтобы я его пример на свой аршин смерял... Получилось наоборот, это он нашу теперешнюю жизнь на свой аршин смерял!

Я прикинул еще так и этак: подойдет ли в чем ко мне рассказ Ивана Андреича? Нет, ко мне тут ничего не подходит и не подойдет никогда. И вообще, чего думать мне уже сейчас о любви, как оберечь ее, когда всякая — и девичья, и своя — любовь от меня еще, ух, как далеко!

Глава тринадцатая

ДЕВИЧЬЯ ЛЮБОВЬ

А все же разговоры с Иваном Андреичем у меня не проходят мимо ушей, после каждого обязательно что-нибудь остается. И долго потом тревожит, заставляет задумываться. Отчего это? Или сам Иван Андреич видом своим на меня как-то действует, или слова у него такие, со значением?

Еще первый раз, когда он сказал: «Свообразно понял молодой человек призывы партии и правительства» — помните: насчет того, что я решил матросом на всю жизнь остаться? — меня это задело. Сперва просто поспорить с ним сильно потянуло, а потом заворожилась такая мысль: «На веку своем повидал человек этот немало. Седину в волосах и шрам на щеке нажил, конечно, не зря. Вон как решительно и смело он рассуждает! Как он здорово и правильно срезал Николая Петровича. Почему я себя умнее его должен ставить?»

Во второй раз Иван Андреич еще больше меня пошатнул, хотя примером своим с кондукторшей из автобуса убедил и не очень. Примеры-то к чему хочешь подобрать можно! А вот под пример попробуй жизнь свою подстроить! Но не думать о нашем разговоре я все равно уже не мог. И теперь у меня еще сильнее стало чувство доверия к Ивану Андреичу и какого-то сомнения в самом себе. Вернее, не в себе, а в тех мыслях, какие я перед Иваном Андреичем отстаивал. Говорю «не в себе» потому, что мысли тогда я, пожалуй, высказывал даже не свои, а чьи-то чужие, может быть, Васи Тетерева и вообще всех других, на кого мне похожим быть хотелось. А сомнения начались такие: не потому ли взаправду решил я на всю жизнь остаться в матросах, что просто жаль мне голову свою чем-нибудь еще забивать? Вот и ищу сам себе оправдания в том, что, дескать, государство призывает молодежь не гнушаться простой работой. Правда, все это во мне как-то попеременно вспыхивало и гасло, вспыхивало и гасло. Крепко за сердце еще не забирало.

А вот с последней нашей беседы начал я все чаще себе повторять: «Эй, Костя Барбин, а не лентяй ли ты и в самом деле? Не меньше ли ты делаешь, чем мог бы делать?» И еще, и еще, из того, что Иван Андреич мне говорил. И к этому у меня даже вкус появился.

Тумарк Маркин ходит и всех гоняет на репетицию. Вообще, конечно, эта Васина затея только для галочки в отчете. Но Тумарк бьется не ради галочки. Ему это нравится. Мне кажется, он даже сон потерял с тех пор, как его режиссером выбрали. Только беда — никто не хочет слушаться.

Вот и сейчас, стоит мой Тумарк, дергает себя за чечочку и допытывается: «Костя, да ты повторял ли вчера? А сегодня?»

Меня смех разбирает именно от его строгости, а он думает, что я улыбаюсь потому, что попался, и носик у него становится еще острее.

— Костя, к искусству так нельзя относиться! Программа вечера составлена, менять ничего нельзя. Читай стихи!

Разговор у нас происходит на палубе. То и дело мимо проходят пассажиры. Представляете? Начни читать, и сразу толпа вокруг соберется.

— Ладно, Тумарк, — говорю. — Честно признаюсь: вчера вечером не повторял и сегодня утром тоже. Но читать здесь ты меня не заставляй. Неловко, народ кругом. Верь: я один порепетирую.

— Вот и все так! Каждый сам по себе, а при чем же тогда я — режиссер?

— И правильно, — говорю, — возьми и откажись. Зачем тебе кровь свою портить, если никто тебя не слушается?

А он свое:

— Ну, нет! Почему это я буду отказываться? А у вас то совесть должна быть? Не хочешь выполнять мои, режиссерские, замечания — докажи сперва, в чем я неправ. А так — на увертки всякие я не согласен. Читай!

Выхода нет. И я поднялся с ним наверх, увел за трубу, где стучат выхлопные газы, и прокричал стихи, нарочно прокричал во все горло, чтобы поймать его —

какие же замечания по сравнению с Шуриными сумеет сделать он, Тумарк Маркин, наш режиссер, сын известной артистки. Доказать ему, что действительно в режиссеры он не годится. Но, представляете себе, он почти слово в слово сказал все то, что и Шура мне говорила! Только сам прочитать стихи так, как Шура читала, не смог. Вот ведь она какая тонкая штука, это искусство!

В общем, Тумарк остался доволен и успокоился: хоть к одному да приложил свою режиссерскую руку. А я от трубы прямиком отправился к Шуре. Во-первых, надо было рассказать ей про Тумарка, а во-вторых, если есть свободное время, почему вообще к ней не пойти?

У лесенки близ капитанского мостика я повстречался с Леонидом, вернее, наткнулся на него, потому что шел я, а он стоял. По его веселому лицу я понял, что он здесь стоял все время и слышал, как я за трубой выкрикивал стихи Маяковского. Но теперь веселья было и у меня хоть отбавляй.

Я прошел мимо него посвистывая, сделал ручкой: «Морякам привет!» — и спустился вниз по лестнице, нарочно загнулся лишний крюк, чтобы пройти заодно и мимо радиорубки.

Окно было опущено, репсовые шторки раздвинуты, и я увидел, как Маша, охватив черными наушниками голову, выстукивает ключом свои тире и точки, а рука почему-то шевелится не столько в кисти, сколько в плече.

Я всунул голову в окошко, негромко сказал: «Здравствуй, Маша!» Сказал для того, чтобы она поняла: мы с ней все же знакомы и я на нее не сержусь. А Маша почему-то сильно вздрогнула и, наверно, послала в эфир такой сигнал, каких нет ни в одном коде. Но тут же сняла руку с ключа и ответила: «Здравствуй, Костя!» Потом прибавила: «Ну, заходи, заходи». А у меня вышло:

— Да некогда. Иду к Шуре.

— А! — сказала Маша. И снова застучала ключом.

Конечно, я должен был как-то поправиться. Получилось нехорошо, грубо. Но тут изнутри открылась



дверь, и в радиорубку вошел Леонид. И я не придумал ничего другого, как повторить: «Морякам привет!» И тут же удалился.

«Родина» в это время обгоняла большой караван — одиннадцать барж, груженных желтыми светлыми досками, и я остановился посмотреть, как гонит за собой косую волну маленький буксирный пароход, впряженный словно кошка в телегу. Бьет, шлепает широкими плициами по воде, под коркой у него пена ярится, а у носа — гладь, тишина. Мы пронеслись мимо него так, будто он не вниз плыл, а стоял на месте.

Я сам в прошлом году плавал на таком чумазом работяге — буксире и всегда немного с завистью смотрел, как мимо нас пролетали снежно-белые пассажирские теплоходы. Казалось бы, чего и завидовать, когда мальчишкой, вместе с



матерью, я катался на них по целому лету взад и вперед? Но в том-то и дело, что быть пассажиром — это одно, сыном при служащей матери — другое, а кадровым матросом — третье! С какой завистью тогда на пассажирские — с таким сейчас прямо-таки презрением поглядел я на буксирный пароход. Сперва было даже сам удивился: а почему это? Работу он благородную выполняет, лес на стройки везет. Но сразу же и разобрался: скорость, быстрота движения, холодный ветерок в грудь — вот что мне дороже всего!

Подошел Вася Тетерев:

— Что, Барбин, задумался?

Рассказал ему.

— Нет, Барбин, — говорит Тетерев, — это ты неправильно думаешь. Всякий анализ явлений надо всегда так начинать: где, какую и почему данный предмет приносит обществу пользу. Сам предмет или его действие. Материальное начало. А эмоции субъективны, с общественной пользой они редко связаны. Я думаю, ты это понял? Я очень хочу, чтобы ты понял.

— Нет, Тетерев, — говорю, — ничего я не понял. Ты скажи мне, в какой книге это написано, а я прочитаю. Может, пойму.

Вася обиделся:

— Ты поддеть, что ли, хочешь меня, Барбин? Ни в какой книге это прямо не написано. Это должен каждый и так понимать. А коли ты сам заговорил, вот тебе как раз и комсомольское поручение: подготовить доклад на



тему «О сочетании личных интересов с общественной пользой». Толково получится. Да ты не гляди так на меня!

Сперва действительно я было перепугался. Получилось: скомандовал огонь на себя. А потом сообразил: ничего. Все равно ведь сам Вася за меня этот доклад напишет, а я уж как-нибудь прочитаю.

Мне очень хотелось скорее спуститься на нижнюю палубу, в почтовую каюту. Но Тетерев никак не отпускал, загибал у себя на пальцах тезисы моего будущего доклада и после каждого тезиса прибавлял: «Ты, Барбин, это запоминай. Я хочу, чтобы ты запомнил». Потом он стал рисовать картину, как у нас зимой, на отстое, развернется массовая работа. Каждый обязательно будет охвачен и втянут в кружки, а когда у молодежи не останется праздного времени, прекратятся постыдные явления пьянства, хулиганства и так далее, и так далее, то, что имеет еще место теперь. Он тянул и тянул без конца свою словесную цепь, будто якорь у него был брошен на стометровую глубину. Но чем дольше тянулась цепь, тем веселее становилось мне, потому что у меня постепенно складывался и еще один превосходный рассказ для Шуры — об этом самом разговоре. Так что, когда колокол отсигналил «динь-динь!» — якорь вышел, — Вася остановился, я даже немного огорчился и спросил:

— Все?

Сколько раз я ни заходил к Шуре, я почти всегда заставал ее за чтением книги. Она тут же засовывала ее под подушку и начинала хлопотать насчет угощения. Что читала Шура — я так путем и не знал. Говорю «путем» потому, что после той истории, когда она Пушкину прицепила какого-то Рустико, дьявола и монаха, больше спрашивать мне было вроде уже и неловко. Тем более, что Шура читала, по-моему, только одну — все ту же самую книгу, словно хотела вызубрить ее наизусть.

На этот раз Шура сидела за работой. Я прямо ахнул: она рисовала! Мне давно уже хотелось попросить ее об этом. Но я слыхал, что художники и писатели могут работать только тогда, когда ничей посторонний глаз

на них не глядит. Во всяком случае, я сам, когда начал писать эту книгу, первое, что сделал — выгнал из дома на улицу Леньку и запретил ей без стука входить.

Хотя мне Шура и ответила: «Можно», я все же попятился. Мало ли что скажет человек из вежливости! Но Шура даже кисточки свои бросила, потянулась ко мне руками:

— Костя, да ты чего испугался? Иди, оцени. Как тебе нравится?

Рисовала она масляными красками на стекле. Море, закат, кипарисы и одинокая чайка над морем. А рядом лежало такое же стеклышко, готовая картинка, и, выходит, Шура с нее снимала копию. Таких морей с закатами и с кипарисами я видел уже целый миллион. Пожалуйста, их у нас в Красноярске везде продают: и на базаре, с рук, и в комиссиионке. У всех моих знакомых такие картинки висят. Была и у нас, да Ленька разбил. За мухами охотился.

А вот нравятся ли они? Как вам сказать... Поглядеть все-таки приятно, глаза отдыхают. Краски всегда яркие, чистые, пропрещь стекло тряпочкой, и картинка еще больше засветится. И хотя, к примеру, ни моря, ни кипарисов живых я еще и не видывал — все равно такие картинки наводят на красивые мысли. Если вечерком, одному, долго вглядываться в эти закаты с чайками, помаленьку что-нибудь вроде стихов или повести можно в своих мечтах сочинить. Настоящие художники такие стеклышки высмеивают, называют халтурой, считают искусством только большие полотна. Не возражаю, может, оно и так. Потому что когда я ходил с экскурсией на передвижную выставку, смотрел на полотна и Сурикова, и Репина, и Поленова, и Герасимова, и Непринцева — у меня в душе не то что стихи или повести складывались, а даже целые романы в трех томах. Но художники забывают одно: что такие полотна стоят по двадцать и по тридцать тысяч, а картинки на стекле — десятку. И подходят они к любой мебели в квартире, а для художественного полотна в золотой раме еще на тридцать тысяч нужно всякой обстановки купить.

В общем, все эти мысли я Шуре и выложил. Да еще посмеялся, сказал:

— Это не твои картинки в комиссионке у нас про-
даются? Похожи.

И Шура, тоже смеясь, подтвердила:

— Мои.

Сказала, и я, по словам ее, не пойму: шутит она или говорит серьезно? И кажется мне, что глазами своими она спрашивает меня: осуждаю я это или нет? А я отве-
тить ничего не могу, потому что и сам не знаю. Но все-
таки в душе у меня зреет неясное чувство такое, будто сидит Шура передо мной, не картинки рисует, а как «хол-
одный сапожник» на углу улицы медными гвоздями оторванные подметки приколачивает: кривую «лапу» в ботинок, молотком пять-шесть раз стукнул, и — гони, гражданин, трояк!

Шура начинает складывать свои кисточки. Все гля-
дит на меня.

— А ты знаешь, Костя, я у себя в семье больше всех зарабатываю. На теплоходе свободного времени хоть от-
бавляй, за один только рейс сколько таких закатов я на-
малюю? Ведь на это, когда рука набита — десять минут! Досадно только, что комиссионка большие проценты бе-
рет. На базаре продавать выгодней.

И я все еще не знаю, что ей сказать. Какой-то совсем неожиданный для меня поворот. Понимаю, что писать такие картинки — это совсем не то, что по-шахвостовски на теплоход пассажиров устраивать, а все же чем-то Шу-
ра сама себя вроде принизила. Вид у меня был, наверно, самый растерянный, потому что Шура ко мне так и ки-
нулась:

— Костя, Костя, смешной! Да для себя я, конечно, рисую. Ну, скажи, нравится?

Вот тогда у меня уже совершенно свободно вышло:

— Очень нравится!

— А хочешь я тебя нарисую?

Когда-то я читал про знаменитых живописцев, как они пишут портреты великих людей: по году и больше. Нашего капитана, знаю, красноярский художник рисовал тоже около двух месяцев. Ну, а матроса Костю Барби-
на Шура на стеклыше, понятно, намалюет в один при-
сест. И я согласился.

Но Шура достала из заляпанного красками ящичка,

который стоял у нее под койкой, холстинку, натянутую на подрамник, и принялась чертить на ней толстым угольным карандашом.

Я забегу вперед, но скажу вам сразу, что, когда я уходил от Шуры, на полотне была только изображена как бы куча сухого хвороста, из которой таинственно выглядывал один глаз. И тот, не знаю, был ли похож на мой.

Все два часа, какие у меня оставались до вахты, я присидел не смея разинуть рта, хотя меня так и подмывало изобразить в лицах сегодняшний разговор с Васей Тетеревым. Шура все время просила: «Костя, гляди на меня, не отрывайся. Мне нужно понять цвет твоих глаз». А я никак не мог этого сделать, все норовил отвернуть голову, потому что Шура сама не отрываясь так глядела на меня, что мне становилось жарко и как-то странно обрывалось дыхание. И я не думал даже о том, зачем ей сейчас цвет моих глаз, если рисует она пока не красками, а делает наброски черным угольным карандашом.

Я молчал. А Шура могла говорить. И говорила все время. Даже больше, чем всегда. Явно за мой счет. Объясняла законы перспективы, рассказывала об основных и дополнительных цветах, будто я сам собирался стать художником. Каюта была очень короткая, чуть подлиннее койки, и, хотя мы сидели в противоположных углах, Шура все время жаловалась, что нет перспективы, видит мое лицо плоско, и, чтобы понять его пластику, она должна проверять пальцами, как скульптор. Пальцы у Шуры были мягкие и прохладные, но мне от них почему-то делалось еще жарче. Иногда она приглаживала мои волосы, отходила, прищуривалась, склоняла голову то к правому, то к левому плечу, а потом — раз-раз! — что-то черкала на полотне.

— Ох, Костя! Замечательный портрет у меня выйдет. Только не нужно спешить.

И давай выдумывать, сочинять, как она будет рисовать меня год или два. Подумала и еще прибавила: пять, десять, пятнадцать лет... Сидит, и слово за словом нанизывает вроде такого:

«...и вот, я гляжу, у меня все закончено. Разве еще

чуть-чуть, только найти бы живое дыхание. Но проходит ночь, и — ужас! — на полотне я ничего не узнаю. Нет, это не Костя! Это совершенно чужой человек. Приходишь ты. И тоже в отчаянии:

— Шурочка! Что случилось с портретом?

— Не знаю...

И ты покорно садишься — вот так, как сейчас. Я берусь за свои кисти. И мой Костя снова оживает на полотне. Но тут входит наша мама:

— Ребятки! Милые мои! (Это у нее так всегда.) Идите скорее к столу. На полотне потому и нет жизни, что от голода вы сами уже полумертвые.

Ох, Костя, а каким вкусным обедом кормит нас мама! Ты не представляешь даже, какая на это она мастерица. Но все же и сердится немножко, ворчит на меня:

— Шурочка, с этим портретом ты совершенно забыла про закаты на стеклышках. В комиссиионке все уже проданы, просили еще. И на базаре тоже очень спрашивают».

А сама хохочет. И карандашом по полотну черк-черк. Другая девушка начни меня в свою болтовню так вплетать — я очень бы рассердился. А тут — ничего, сижу, слушаю. Глупый складывается разговор, но все равно приятно. А то что Шура так говорила, будто мы были с ней вовсе свои, а ее мама — это уже и моя, как-то по-особенному ласкало и волновало меня.

Словом, два часа пролетело совсем незаметно. Я сообразил, что мне скоро вступать на вахту, только тогда, когда увидел в окно, что мы проплываем мимо Ангутихи.

Не подумайте, что это город большой или вообще чем-то Ангутиха знаменита. В ней, может, всего-то двадцать дворов. Но на безрыбье, как говорят, и рак — рыба. Поселки после Туруханска и вовсе редко пошли. Но зато каждый из них теперь значение себе приобрел. Возьмите, к примеру, карманный атлас СССР. Вы там найдете в Красноярском крае Виви, а село Емельяново не найдете. Хотя Виви — всего пять домов, а Емельяново на целых семь километров растянулось. Но дело все в том, что от Красноярска до села Емельяново рукой

подать: поставь на карте кружок, так он, наверно, прямо прилипнет к самому городу, а если Виви не отметить — окажется на Севере огромное пространство вовсе пустым. А ведь тайга-то у нас везде живая! Правда, здесь тундра уже подступает, вся в светлых блюдечках-озерках. Но это тоже ничего не значит. И в тундре живут люди.

Сказал я Шуре, что мне пора уходить. Она так и охнула:

— Костя, миленький, да мы же с тобой еще чаю не попили!

Бросила прочь подрамник — вот тут я и увидел свой глаз в куче сухого хвороста, — схватила чайник. И зря совершенно. Потому что до начала вахты осталось самое большее десять минут. И я отобрал у Шуры чайник, сунул его обратно под стол:

— Лучше выйдем, на Енисей вместе посмотрим.

— Да ну его, твой Енисей! Вода и вода, везде одинаковая. А тут и берега даже какие-то облезлые.

Очень царапнуло это меня по сердцу. Слепые и те чувствуют красоту Енисея в свежем речном дыхании. А тут такие слова говорит мне художница. Да если эти вот ангутихинские места с любовью нарисовать на стеклышке — они получатся никак не хуже морских закатов с кипарисами! Наверно, очень кривое у меня стало лицо, потому что Шура сразу встревожилась и начала мне пальцами лоб разглаживать: «Ну, скони эту буку. Убери, убери морщины. Глупый!» И потащила меня за собой.

Мы вышли на самый нос теплохода, где громоздятся лебедки и лежат якорные цепи. Под колоколом на скамеечке сидел Петя, Петр Фигурнов и чинил пеньковую снасть, подвивал свежими прядками.

— Если хочешь, — говорю ему, — поесть щей самых горячих и с наваром, шагай. И считай, что я вахту от тебя уже принял.

Фигурнов повертел своей длинной шеей, подал недоплетенный конец снасти и острый колышек, которым раздвигают пряди каната.

— Принимай. Пожалуйста. А на кухню до конца вахты я не пойду. Не хочу потом с Иваном Демьянычем

объясняться. Ну, а если просто нужно отсюда исчезнуть — могу. Это для ясности.

И правда, тут же исчез. Но появился взамен Шахвостов.

— Угу! — говорит. — Ну, правильно, Шурочка. Бери его крепче на крюк.

И прибавил что-то еще, совсем шахвостовское. Закипела злость во мне. Эх, ударить бы коротким тычком Илью, с ног сшибить! А потом сказать ему раз на всегда, чтобы таких разговоров от него я больше не слышал. Но Илья стоит за лебедкой и мне до него не дотянуться рукой, а обойти лебедку — внезапности, молнии не получится. Будет обыкновенная драка.

— Илья, ты считай, что я сейчас изо всей, какая только у меня сила есть, тебя в ухо ударили. И слушай...

Шахвостов зубы оскалил, руками развел.

— Шурочка, объясни ему за меня, что я убит наповал и потому ничего не слышу. Пошел выбрасывать свой труп за борт.

Зачем он приходил? Случайно забрел или заведомо?

Как он оскорбил Шуру! Столбом застыла, бедная...

Но Шура вдруг поворачивается лицом ко мне. Я вижу, что она улыбается, будто не было во все Ильи с его обидными словами.

— Ох, и болтун, — говорит, — этот Шахвостов. Ему бы только в цирке «рыжим» работать.

И я не пойму, что мне делать: догонять Илью, чтобы избить его, или смеяться вместе с Шурой?

А она — вот какая выдержка! — начинает спрашивать, скоро ли бу-



дет Полярный круг, есть ли там на берегах какие-нибудь обозначения и правда ли, что бывают осетры трехпудовые? Закидала меня вопросами. И я понимаю, это для того, чтобы я мыслю к Шахворостову больше не возвращался.

Начал я отвечать. Сперва туго шли слова. Да про Полярный круг и вообще трудно рассказывать. Потом разошелся, стал вспоминать, как в прошлом году я на буксирном пароходе здесь плавал. А когда до осетров дело дошло, как заврался — и сам не заметил. Сказал, что вот здесь же в прошлом году поставили мы на ночь самолов. А наутро — «что бы ты думала?» — вытащили тридцать пять стерлядей и осетрищу весом в семьдесят семь килограммов. Вот рыбина.

Самолов, верно, мы ставили, и стерлядей с осетром тоже, правда, поймали. Только стерлядей было не тридцать пять, а четыре штуки, осетр же сорвался с крючка и сколько в нем было весу — бог весть, но, честно говоря, конечно, вряд ли больше десяти килограммов. Позорнее же всего было то, что этот самолов у нас тогда отобрал инспектор рыбнадзора и чуть не пришил нам еще браконьерство.

Когда вот так, через край, начинаю я перехватывать, я обо всем забываю, даже о том, кому рассказываю свои небылицы. И главное, в тот момент, когда я рассказываю такие вещи, я сам в них верю, мне кажется, что это действительно было. И если прибавлено, то сущие пустяки, только для яркости. Зато, когда поставишь последнюю точку и постепенно начнешь остывать, припомнишь все, что рассказывал, — хоть в воду бросайся.

Сидели с Шурой мы рядом. Она на скамеечке, я чуточку впереди, на бухте каната, и, между прочим, работал — подвивал оставленную Фигурновым снасть. Поэтому в разговоре я как-то даже не поворачивал головы к Шуре, взгляд на работе у меня сосредоточился. Однако я все время чувствовал, что она на меня глядит. Это



ведь и спиной даже чувствуешь. Но когда я выговорился до конца и подошла как раз такая пора, когда холодком этим самым дохнуло: «Что же я намолол?» — наступила страшная тишина. Ну, я замолчал — это ясно. А почему Шура молчит? Повернуться бы к ней, посмотреть. Не могу...

Проходит минута. Я ковыряю снасть. Представляю себе, какая на губах у Шуры улыбочка. Проходит вторая минута. У меня шея потеть начинает. А Шура молчит, и мне кажется, теперь уже нет и улыбочки, только чистое презрение и серая скука. Третья минута. У меня уши горят, а губы сохнут. Но Шура молчит. Ее дыхания даже не слышу.

И тогда я, будто бы невзначай, сам взглядаю на нее. Нет, Шура не смеется. И скуки нет у нее на лице. Оно такое... нет, не пойму! А взгляд у нее — чуть подниму свои веки, они снова тут же и падают. И кажется мне, что я весь превращаюсь в теплый кисель, хотя мускулы у меня как железо — канат я сдавил рукой, будто волка за горло.

Встаю. Зачем — не понимаю. Ног под собой совершенно не чувствую. А Шуру, если и вижу, так сквозь опущенные веки. Но я знаю, что Шура тоже встает и все так же глядит на меня, а губы у нее слегка шевелятся. Я слышу, как за бортом плещет вода и шипят пузырьки пены, слышу, как на корме тоненько девушки поют «Одинокую гармонь», но я совершенно не слышу, что говорит Шура. А она говорит. Пятится, шаг за шагом отдаляется от меня, но все так же глядит и так же без звука шевелит губами.

Вот она все ближе, ближе к выходу на обнос. Вот дотронулась рукой до перил! Вот — скрылась вовсе. А передо мной еще стояло, как светлая тень, лицо Шуры, все в мелком пушку на щеках. Губы у нее шевелились.

Попробовал взять я снова канат. Работа не спорится. Пошел бы, а куда — неведомо. Хоть по кругу, только бы походить! И тут вдруг вспомнился мне почему-то Иван Андреич и его рассказ о Поленьке. И мне стало и радостно и тревожно. Так неужели это любовь? Я думал — любовь за горами, а она уже тут как тут.

Глава четырнадцатая

А ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ Я?

Летом за Полярным кругом, от Игарки и дальше, ночей уже нет совсем никаких, ни черных, ни белых — сплошное сияние солнца. Непривычного человека это даже запутывает, мешает нормально спать. А что в летнюю пору здесь происходит с травой, с цветами! Вот растут так растут! Попробуйте в тихую погоду сядьте где-нибудь на лужайке, прицельтесь глазом в одно место и понаблюдайте с полчаса, с час. Вы увидите совершенно ясно, как все время будет шевелиться трава, стебельки будут толкать друг друга своими листьями и там, где только что не было еще ничего, вдруг вспыхнет яркий желтый цветок.

Или вот, тоже интересно: где-нибудь в складках берега еще лежит зимний снег и лед, набившийся туда, когда вскрывалась река, и тут же, вовсе рядом, — прекрасная крепкая зелень. Траве некогда ждать, пока лето все льдины растопит.

Игарка при незакатном солнце — очень радостный город. Вся она деревянная, даже дороги, мостовые на улицах, как полы в квартире, из досок, только не-крашеных. А не стареет, не чернеет так, как чернеют другие города. Нет здесь ни смрадного дыма, ни пыли.

Игарку видно издалека, хотя и стоит она не у главного хода Енисея, а на протоке, за островом. Но остроожно, можно сказать, голый. Конечно, и люди изрядно его выбрали, какие были на нем деревья — не поберегли, а главное — Север. За Полярным кругом природа уже резко меняется. По берегам реки гор нет, скал красивых, обрывистых нет, нет и темной дремучей тайги. Возле Игарки еще растет лиственница, а местами даже и кедрачи — и все это нормального роста, но дальше к северу любые деревья уже низко припадают к земле. Так и представляется, как они, словно бы люди, пригнув свои головы, пробиваются сквозь снежные выюги и, лютую стужу вперед, стремясь выйти к самому Ледовитому океану. Все деревья здесь кряжистые, рукастые.

Только березка полярная, хотя и всего до колена, но такая же веселая и нежная, как везде. И не знаю, как кому, а мне так всегда поклониться хочется этому деревцу за его мужество.

Пальмы, говорят, очень красивы. Ну, на теплом-то юге и грех уродиной быть. Ты вот попробуй на вечной мерзлоте, при выскребающей землю пурге и сорокаградусных морозах все же вырасти и нежность свою сохранить.

В Игарку за лесом приходят морские корабли. Сейчас океанских судов пока еще нет. Рано. Устье Енисея и Красное море забиты льдами. А к августу корабли табунами пойдут, в очередь под погрузку будут становиться на рейде. По флагам, пожалуйста, изучай все страны мира.

Между прочим, когда до прихода морских судов подплываешь к Игарке, она кажется особенно большой, а вся середина города — построенной заново. Но не думайте, не домá это, а штабеля свежих досок, напиленных за зиму. Они выложены в улицы и переулки и даже стоят под крышами, а торцы у досок забелены известкой. Игарские пиломатериалы — самые наилучшие в мире, оттого их так и берегут.

Зимовать в Игарке мне не приходилось. Местные жители говорят, что снегу здесь надувает столько, что люди свободно ходят поверх любых заборов. И еще говорят, что здесь зимние ночи очень красивы, особенно когда в небе плещется северное сияние. Жалею, этого сам я тоже не видел. Но я видел зато сто раз летнюю Игарку и почти всегда под горячим солнцем, от которого хочется спать, как после жирных блинов. Я ходил по деревянным мостовым, и там, где не было досок, толстым слоем лежали опилки. Они пружинили под ногами. От домов веяло нагретой смолкой, а от протоки тянуло резким запахом сосновой коры. Там стояли плоты. Летом над Игаркой всегда плывет рабочий шум. Гремит на реке железо, якоря, цепи: пыхтит «силовая»; часто-часто дышат лесопильные рамы, так и кажется, вот сейчас захлебнутся опилками; хлопают сырьими, свежими досками штабелевщицы. Эх, не любил бы я так Красноярск, переехал бы жить только в Игарку!

Здесь должен был сойти Иван Андреич, изучать фокусы вечной мерзлоты.

Вроде бы удивительно — инженер и матрос, седой стариk и безусый парень, но мы за эти дни как-то особенно подружились, словно плыли вместе не пять суток, а год целый, и мне прямо-таки жаль было провожать Ивана Андреича на берег. Даже в такой хороший город.

Вместе с Иваном Андреичем сходило еще человек пять-шесть из этой же экспедиции, но я сказал Ивану Андреичу, что вещи его обязательно только сам я вынесу. Больше чем и как мне отметить наше расставание? Он задумался чуточку: «Хорошо. Принимаю. Хотя и есть кому узлы мои вынести. А чем я тебя отдарю?» Говорю: «Ну, что вы!» А он: «Дам тебе я, Костя, на память книгу свою. Она, парень, не про сыщиков и не про шпионов. Научная книга. Называется «Гидроресурсы Сибири и Дальнего Востока». Скучное название? И читать ее скучно. Для специалистов, правда, моя книга — клад. Перед тобой не постесняюсь этим похвастаться. Но ты мою книгу тоже прочти обязательно. Стисни зубы да прочти. Всю. От первой страницы и до последней. На слово непонятное наткнешься — лезь в энциклопедию, либо в технический словарь загляни. Вообще, трудное место встретится — два, три раза его перечитай, спроси кого поумнее. А постараися все же до корня добраться. Чтобы ты знал, чему знакомый тебе стариk жизнь свою посвятил. Да кто знает — может, и прямо тебе все это когда-нибудь пригодится? А? — Посмотрел на меня с озорникой. Здороvо это у него получилось. — Только ты ведь против образования. Семилетку одолел — и то девять некуда. Матрос навеки. Зачем матросу читать научные труды какого-то чудака?»

И тогда повернулся у нас вот так разговор:

— В который раз, Иван Андреич, вы к этому подводите. Зачем?

— Видишь ли, Костя, капля камень долбит. И у тебя, я замечаю, тоже луночка выдолбилась. Сперва ты вон как сопротивлялся! Да вслепую. А теперь уже обоснования ищешь. От меня обоснований требуешь. Изволь, кое-что добавлю тогда, тем более что не на плоский

камень, а в луночки. Ты вот уверяешь меня, а главным образом, конечно, себя, что при твоей физической силе тебе только и быть матросом. А я тебе скажу, что силы своей на это ты и десятой доли не расходуешь. На полную силу работают другие матросы, например тот, которого вы, как школьники, Длинномухиным дразните, или второй—Тумарк Маркин. Этим работа матроса как раз в меру, большего им, может быть, и не осилить — если говорить только о мускульной силе.

— Ого, Иван Андреич! Так тоже нельзя рассуждать. Чем я виноват, что Мухин тонким, длинным и без мускулов родился, или не сумел себе нарастить мускулы, как я? А Тумаркин вообще цыпушка какая-то. Что мне против них легче работать — не спорю. Так это просто моя в жизни удача!

— Виши ты как! Прямо Герман из «Пиковой дамы»: «Пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу!» Барбин вытянул себе счастливую карту.

Обидно мне стало. За кого же это принимает меня Иван Андреич? Будто с расчетом я силу свою берегу! Но смолчал пока.

— А грудью к ветру на теплоходе стоять все же приятнее, чем, скажем, из трюма бочки выкатывать. Так ведь, Костя? Только по-честному говори. Ну? По-честному.

Вспомнилось мне, зимой, на отстое когда мы работали, Шахворостов изрек: «Сидеть лучше, чем стоять, а лежать лучше, чем сидеть». Очень смешно тогда было мне слушать его, потому что я в этот момент один выворачивал огромную глыбу льда, и вся душа у меня пела победу, а Илья, с посиневшим от мороза носом, сидел и ногами выбивал чечетку. Это называется «сидеть лучше, чем стоять»! Вот если бы тогда Иван Андреич сказал мне: «Ну? По-честному» — мне легко было бы ответить. А вообще, если по-честному, да — грудь к ветру действительно приятнее, чем бочки из трюма выкатывать.

Так и сказал я Ивану Андреичу.

А он:

— Было бы лицемерием, парень, если бы ты сказал иначе. А с моей стороны — великой ложью навязывать

мысль, что бочки матросу катать приятнее, чем гулять по палубе. Моя мысль, Костя, в другом. У шоферов есть такое выражение: «холостой пробег». Это когда машина идет без груза или с ничтожным грузом, то есть везет меньше, чем могла бы она увезти. У человека в жизни тоже могут быть холостые пробеги. Так как думаешь, это к тебе не подходит?

Быстрый, с этого, пошел у нас спор.

— Ага! По-вашему, значит, я трехтонка, а Мухин и Тумаркин — полуторки? А каждому из нас по полторы тонны груза положено? Только в чем же я виноват? Сколько нагрузили, столько я и везу. Выходит, наш груз вроде каменных кубов одинаковых — каждому приходится по кубу. Иначе не разложишь. Тем более, что и зарплата у нас одинаковая.

— Правильно, Костя, друг мой. А на языке политической экономии это называется социалистическим принципом распределения: «За равный труд — равную оплату...»

— Не знаю, Иван Андреич. Политической экономии я не читал. Я знаю...

— А ведь плохо, что не читал. Знал бы больше. Например...

— Я и так знаю, что Костя Барбин — не бездельник!

— Но холостые-то пробеги ты делаешь? Гоняешь свою «трехтонку» зря? Мы все говорим, что социализм у нас уже построен и мы постепенно идем к коммунизму. Вероятно, при случае, и ты так говоришь. Правда?

— Ну... не знаю, говорю или нет... Докладов я не делаю... А что к коммунизму мы идем — это я знаю. Только вы к чему опять все это клоните?

— А вот к чему. Движение к коммунизму, Костя, не разговор, а реальное развитие нашего общества. Постепенное и неостановимое движение, и надо искать в себе то, что помогает этому движению. А коммунистический-то принцип распределения ведь уже иной — «От каждого по способностям, каждому по потребностям».

— Знаю, Иван Андреич. Только «по потребности» — это когда будем вволю всего иметь.

— Тоже правильно! Ну, а «по способностям» когда начнем? Это от чего зависит?

Вот и доспорились. Сразу прыть у меня поубавилась. Выходит, так — от самого себя только зависит. И если этого нет у тебя, как же тогда идти к коммунизму — боком одним? Давай мне «по потребности», а я не дам «по способности»? Иван Андреич сразу заметил заминку мою.

— Хорошо, «по потребностям» это, — говорит, — допустим, дело еще далекое. Это когда действительно будет полный коммунизм. А вот «по способностям» почему, скажем, Костя Барбин, уже теперь не думает трудиться? Это ведь не только при коммунизме — и при социализме никак не мешает, при равной оплате за равный труд. Способности свои, Костя, всегда полностью отдавать нужно. Нет, ты не бездельник — ты скопой. Жалеешь всего себя народу отдать. А в то же время и расточитель большой. Не только физическую силу свою — ум свой, талант, способности тоже гоняешь сейчас на холостом ходу.

Забормотал я на это что-то совершенно невнятное. Дескать, еще учиться я должен, что ли? Так по моей работе знаний моих и сейчас выше макушки. Разве тоже не холостой пробег будет, если учиться зря, без всякой нужды в этом?

Иван Андреич так взметнул свои худые плечи, что мне показалось — у него кости щелкнули.

— То есть как без нужды? Да ты, парень, просто кощунствуешь. Человечеству, народу не нужны новые знания? Ах, Косте Барбину, матросу с советского теплохода «Родина», они не нужны! А он, этот Костя Барбин, частица нашего общества? Ага, по профессии матроса ему больше никакие знания не нужны! Сейчас в дипломатическом мире в большом ходу поговорка: «Ставить телегу впереди лошади». Парень, мне кажется, что ты как раз вот этим самым способом и запрягаешь свою лошадку. А нужно, друг мой, чтобы знания всегда шли впереди любой профессии, и тянули ее за собой. Поднялся ты в своих знаниях выше — поднимай и всю профессию выше, на новую ступень. А сам опять еще выше поднимайся.

«Поднимайся! А у меня такое чувство, что я сейчас, наоборот, куда-то вниз иду. И цепляюсь уже, как говорится, за соломинку.

— Получается все же так, Иван Андреич: вы хотите, чтобы я из матросов ушел.

— Нет. Получается, парень, немного иначе; я хочу, чтобы ты не забивал себе голову мыслью о том, что стремиться тебе больше уже не к чему и незачем.

Вот такой примерно состоялся у нас разговор. Во всяком случае, так я его записал сразу.

Словом, за эти пять дней с Иваном Андреичем я столько всякой политики проработал, сколько до этого за всю свою жизнь в разных Васиных кружках не прорабатывал. И, хотя, как вы видели, разговор этот закончился совсем не в мою пользу, мне он под конец просто понравился. Броде бы голова у меня от него стала вмешательнее.

Теперь, возможно, вы спросите меня, почему я о Шуре ни звука? Хотя даже главу назвал: «А что должен делать я?»

В том-то и штука, что я совершенно не знал, что мне делать, после того как Шура потихоньку ушла. До конца вахты я ее не встречал — это нормально. А вот когда с вахты сменился, при других бы обстоятельствах я, вернее всего, сразу же к ней заглянул. А тут, чувствую, нет, никак не могу. Даже мимо почтовой каюты пройти мне тревожно: а вдруг откроется дверь? Вот штука-то удивительная! Ведь ничего же не произошло, чтобы трудно было встречаться...

Вот вы, если с вами в жизни такое уже случалось, может быть, и улыбаетесь надо мной: дескать, Костя Барбин из муhi сделал слона. А я спорить буду — в таких случаях вы тоже слонов делали! Точь-в-точь как я, терзались и думали, что это значит и как вам поступить: бежать ли к ней или, наоборот, от нее удрать куда подальше. При всякой другой профессии выбирать можно. А скажите, матросу куда с корабля удрать?

Чем больше я думал о Шуре, тем яснее мне становилось: любит. К этому подводили и всякие другие приметы: как она что-то сказала мне, как когда-то тронула

рукой мою руку, как писала портрет... Ну, а я? Себя я как раз понимал меньше, чем Шуру. Неужели вот «это» и есть — «люблю»? Раньше я думал, что, когда «это» придет — оно будет больше. Во всяком случае, будет какое-то особенное. А когда я думал теперь, мне мешала еще и Маша. Она словно бы стояла у меня за спиной и грустно, с укоризной, как на Столбах, когда я выкидывал свои фокусы, говорила: «Костя, ну что это ты?» И я злился на эти слова, потому что не она мне, а я должен был их говорить. Если по справедливости.

Сменившись с вахты, я прежде всего отыскал Шахворостова. Нужно было вдолбить ему, наконец, что о Шуре болтать я больше ему не позволю.

Илья оказался на корме, на кринолине — это такая решетка полукругом над самыми рулями. Он обдирил бафана. Ну да, бафана. Орудовал ножом так, как ловкий парикмахер бритвой. С какой стати он взялся — не понимаю. Или просто самому Илье это нравилось, или среди ресторанных работников любителей резать бафанов не нашлось. Но говорить то, о чем я собирался, человеку, у которого нож сверкает и руки по локоть в крови, сами понимаете, не очень приятно. И все же я подобрал какие-то слова. Илья мигнул левым глазом, подбросил и поймал нож.

— Чудак! Ну ладно, я больше не буду. А если сам спросишь? Спросишь ведь.

Я молча показал ему кулак и ушел.

Теперь мне нужно было мирно с кем-то поделиться. Чем? Не знаю — счастьем ли, тревогой ли. Я попробовал завязать разговор с Тумарком Маркиным. Этот никогда не грубит и лучше других поймет такие тонкие вещи. Тумарк сидел один, не читал, а прямо, как говорится, пожирал глазами книгу. Я заглянул на переплет — «Моя жизнь в искусстве» К. Станиславского. Понятно. Рассказывать Тумарку я начал издали, и так, как будто все это случилось даже не со мной. Но он вдруг покраснел, отмахнулся рукой и сказал: «Не надо, Костя, об этом». И мы разошлись.

Потом я попробовал пристраиваться к пассажирам. Но с ними затевать такой разговор было еще труднее. Их больше интересовало, с какой скоростью сейчас идет

теплоход, когда мы будем в Дудинке и какая в этом месте ширина Енисея, а не любовь. Вернее, любовь бы их тоже интересовала, если бы своя. Или хотя и чужая, да ясно рассказанная. А как расскажешь ясно, когда еще и самому все в тумане?

И я тогда пошел снова к Ивану Андреичу. Потому что для меня он стал каким-то не посторонним. Я даже не побоялся помешать ему в самых последних сборах перед высадкой. Но, когда я открыл дверь в каюту, я увидел, что там полно людей и откупоренных бутылок шампанского. Выходит, это собирались товарищи Ивана Андреича провожать его в Игарке. И я постеснялся войти.

Сколько потом я ни вертелся около каюты, так Ивана Андреича одного и нельзя было подкараулить. Эти уйдут — другие придут.

Несколько раз издали видел Шуру. Мне даже казалось, что она ищет меня, но я очень ловко терялся где-нибудь среди пассажиров или нырял в коридор. Не то, чтобы я трусил встречи — просто хотелось ее оттянуть. А почему — тоже не знаю. Между прочим, раньше я как-то все знал.

Так время прокрипело до самой Игарки. И я все петлял по разным закоулкам теплохода. А когда «Родина» развернулась против течения и белые баки нефтебазы оказались уже не с правого, а с левого борта, тогда я напролом ввалился в каюту к Ивану Андреичу.

Не поговорить, так хоть вещи ему вынести. А то подумает еще напоследок: потрепался Костя Барбин.

Иван Андреич очень обрадовался: «Дорогой мой, куда же ты запропастился? Нам не пора с вещами двигаться?» Теплоход действительно давал уже подходный гудок, от которого всегда дрожит сердце у тех, кому высаживаться на пристани. И, хотя Ивана Андреича сбрасывалось провожать много друзей и все наподхват стали брать его узлы и чемоданы, кой-что досталось и мне. Старик только растерянно улыбался: «А я-то сам что же? Я ведь тоже должен что-нибудь нести?» И мне показалось неловким напомнить ему о книге, которую он мне обещал подарить на память.

Спустились в пролет мы немного рановато. Самая

толчая, когда каждому поскорее на берег высочить хочется. На верхней палубе всякие выкрики. Тут начальник увидел на пристани своего подчиненного: «Иванов! Ну, как дела? Ты чего ежишься?» Там подчиненный увидел начальника: «Петр Акимович! Петр Акимович! Как ваше здоровье? Как семья?» Девчата перекрываются: «Ой, ой, Светка, да скорее ты!» — «Лови, сейчас спрыгну!» Женщина заметила мужа, в ладоши хлопает, визжит, как поросенок: «Ведь встретил! Встретил, паразит!» Руки у нее тяжелые, толстые, зато брови шнурками, губы сердечком, на голове шляпа — одна, да такая, словно четыре вместе сшиты. А по щекам слезы радости бегут. Парни какие-то без слов, два пальца в рот и — «Фью-у-у!» А в общем получается веселая картина.

Под этот галдеж и свист нас в тугом потоке с теплохода и вынесло. Я все поглядывал — не помяли бы моего Ивана Андреича. В трудный момент — раз! — углом локоть выставил и, пожалуйста, как река от скалы, так и поток людской от меня отворачивал.

И тут увидел я впереди Машу и Леонида. Он был при всей морской форме, даже с кортиком, и тоже, как я, выдигал то один, то другой локоть, чтобы не толкали Машу. Но в самом узком месте их все же стиснули, я видел, как у Леонида словно обломились, повисли руки, а Маша оглянулась назад и лицо у нее было испуганное. Мне захотелось крикнуть этому моряку: «Полундра! Куда смотришь?» Но тут я и сам попал в это узкое горло и едва-едва вывел из него Ивана Андреича.

Потом я Машу с Леонидом увидел уже на лестнице, которая ведет от дебаркадера вверх к зданию речного порта. Хорошая, широкая лестница, светлая, как все в Игарке. Они поднимались легко, торопливо, Леонид что-то говорил Маше, и было очень красиво, как Маша слегка наклоняла голову, наверно, чтобы лучше расслышать.

Мы с Иваном Андреичем и со всеми его друзьями взирались вверх помедленнее. Все вещи тяжелые, а у Ивана Андреича к тому же одышка. Думаю: нужно бы ему отдохнуть. И тут, в этот самый момент, я услышал голос Шуры. Снизу от дебаркадера:

— Костя! Костя, милый! Купи мне, пожалуйста, каких-нибудь духов.

Она так громко крикнула, что на ее голос оглянулись все до одного пассажиры, которые поднимались по лестнице. Оглянулась и Маша. Остановился Иван Андреич, забормотал что-то вроде: «Ах, о девушке-то я...»

Почему Шура крикнула это, я не знаю. Во-первых, духи «какие-нибудь» можно всегда купить и в ларьке, прямо на теплоходе. А во-вторых, я ни разу не замечал, чтобы Шура увлекалась этим. В каюте у нее духами и не пахло, губы она не красила, лицо не пудрила, да к нему, к мелкому пушку на щеках, наверно, и не пристала бы пудра. Между прочим, и ходила она все эти дни в синем лыжном костюме. Но теперь Шура стояла в ярком шелковом платье и просила меня на всю публику о том, что ей было или вовсе не нужно, или она могла бы сделать и сама. Я не люблю, когда так вот, по-глупому, держат себя взрослые люди. Даже девушки, у которых любая глупость выглядит все-таки мило. И при других обстоятельствах на Шуру я очень бы рассердился. Но все глядели на меня сочувственно и с одобрением — не заметил я только, как глядела Маша, — и я посигналил Шуре рукой: «Обязательно!»

А когда мы выбрались вовсе наверх, Иван Андреич отвел меня чуточку в сторону:

— Кажется, она очень славная, эта твоя девушка, Костя. Прошлый раз я хотел именно о ней поговорить с тобой, когда начал... Да ты, наверно, после и сам догадался. У меня, парень, за плечами большая жизнь, но я не кудесник, не гадалка, по линиям на ладони судьбы предсказывать не умею. Тем более что у девушки твоей я не только ладони, но и пальчика даже не видал. Но все-таки, дорогой мой, есть разные мелкие признаки. Мелкие, а важные... Сам любишь — не любишь, а любовью девушку не играй, девушку береги. О Пеленьке я тебе не зря, со значением рассказывал. Ну, а что и как делать — сам решай. Кстати, читал, что на книжке я тебе написал?

— Иван Андреич, — говорю, — да книжку-то свою вы мне так и не дали!

— Как — не дал? Да что ты? Ах, память! Ну, стало

быть, в каюте осталась. Либо хуже — опять в чемодан, по рассеянности, сунул ее. Что же — развязывать свои узлы здесь не стану, отдам, когда из Дудинки обратно поплыvешь.

— Да вы что это, Иван Андреич! Меня встречать, что ли?

— Ну, это, парень, не твое, а мое дело, как я сделаю. А сперва посмотри хорошенько в каюте — может быть, книжка там.

На этом с Иваном Андреичем мы и расстались. Но я все же так и не знал, что я должен делать, потому что не знал, люблю ли я Шуру.

Глава пятнадцатая

КРАЙ ЗЕМЛИ

Сразу скажу: это не точно не только потому, что земля — шар. Дело в том, что от Дудинки, от нашей конечной пристани, до побережья Ледовитого океана остается еще больше семисот километров, а если прихватить острова Рудольфа и Уединения, так до северного края красноярской земли наберется, пожалуй, с лихвой даже и две тысячи. А все-таки каждому, кто доплынет до Дудинки, кажется, что вроде бы дальше и суши нет. Конец. За Дудинкой — море. Оно и верно: ниже Дудинки ходят уже только морские суда, если не считать рыбачьих сейнеров, которые крутятся возле своих промыслов, а в шторм бегут спасаться куда попало.

Потому что Дудинка столько же морской, сколько и речной город, она какая-то двойная. Тут тебе и пристань для пассажирских пароходов с мостками через баржу, а дальше — топай по мокрой глине в крутую гору, тут и всякого размера бегают катеришки, вьются возле океанских судов, как мелкая рыбешка хамса возле тайменей. Тут и конвейерные железные эстакады для погрузки угля в лихтера. Прямо из вагонов на ленту сыплется уголь, а потом хлещет вниз черной струей. Вот какая

здесь высота берега! Спросите — откуда вагоны с углем? А уголек из Норильска, от которого по жидкой тундре сюда великолепная железная дорога проложена. Такая же дорога идет потом и в самом низу по дамбе. А там склады и склады, портовые краны и вообще камень сплошной и железо. И тут же, в устье речки Дудинки, забито все бревнами, сплавленными по Енисею в плотах. Притащили их сюда такие буксиры-работяги, как и тот, что мы обогнали ниже Туруханска. В этой речке морем вроде бы уже и не пахнет никаких. Но посмотри только на берег — тут же лежат железные морские бакены. Как только разойдутся льды в низовьях, их будут ставить на Енисея.

Такая же двойная Дудинка и подальше от берега. Избушки, избушки — «балки», по-местному, кажется ногтем сковырнешь, и рядом — кирпичный трехэтажный дом! Либо целая улица деревянных двухэтажных. Тротуары — мостки, а под мостками болотца воды, и на них троелистка, пущица, осочка вытянулась, дикие кулики бродят, какую-то живность на еду себе выискивают. Средина же улицы крепко шлаком засыпана, и по ней шпарят на третьей скорости грузовики. В сухую погоду даже настоящая городская пыль здесь стоит. Только сухая погода в Дудинке все же редкость, и потому грузовики тоже не так-то часто пылят, а больше корчатся в грязных ухабах. Но это городу не в упрек. Понимать надо, в какой гибкой тундре он вырос. И не сразу все эти топи, трясины асфальтом зальешь. Вот электрическим светом их давно уже залило. Подъезжаешь поздней осенью в черную ночь к Дудинке, так она уже за сорок километров огнями сияет.

Если сравнивать Дудинку с Игаркой, так в Дудинке, я бы сказал, мужская сила, а в Игарке — женская привлекательность.

Сюда, на этот край земли, мы приплыли поздней ночью, когда все в городе спали, кроме солнца и начальника пристани, да тех еще, кому «Родину» обязательно встретить нужно было. И это хорошо, потому что на конечной стоянке нашему брату матросу хлопот больше всего, и лучше, если никто тебе не мешает. А днем дудинцы с берега — то к капитану, то в ресторан за пивом,

то просто постоять на теплоходе да с палубы в воду поплевать.

В Дудинке вахта ломается. Все матросы работают на выгрузке, всем хочется разделаться поскорее, чтобы прибрать как следует теплоход к новой посадке пассажиров, да и себе время выкроить, побегать по городу. Кто в магазине себе диковинку купит такую, что в Красноярске нет. Кто побежит проведать знакомых — они тут у каждого. Кто — по рыбакам. Глядишь, черной икры кастрюльку притащит. А через коренных жителей, ненцев, можно даже шитые бисером унты — меховые олени сапоги — раздобыть или резную из кости табакерку. А это все можно только тогда, если теплоход будет приготовлен на пять с плюсом. Иначе Иван Демьянчук и на берег никого не отпустит.

Словом, жали мы, как говорится, на всю железку: катали бочки, таскали мешки и ящики, мыли, драили палубу и добрых по четыре часа свободного времени себе выкроили.

Тумарк Маркин зовет: «Давайте сходим в кино. А то ведь целую неделю вверх подниматься».

Петя, Петр Фигурнов предлагает другое: «Можно купить для зимы хорошие рукавицы. Меховые. И дешево. Я знаю где. Это для ясности!»

А Илья Шахворостов, конечно, манит в ресторан: «Повар свой. Нам такую нельмочку подаст, что язык проглотишь. А в буфете марочный портвейн, какого и в Москве нет. Завезен двадцать лет тому назад специально на Крайний Север. Как мамонты — археологическая редкость».

Так, еще не договорившись кто куда, все четверо мы отправились в город, стали взбираться на гору. Я уже говорил, что в Дудинке это бывает не просто, особенно после дождя. Ужасно скользкая глина. Пока до лестницы доберешься, иной раз и на четвереньках постоишь. Но не подумайте, что лестница к воде не дотянута по халатности начальства. Нет. Спусти ее ниже — все равно ледоходом срежет и в море унесет. Вы не представляете, какие страшные бывают в Дудинке ледоходы. На двадцать пять — тридцать метров горы льда взгромоздит! Мерзлые берега все искорежит, вспашиет, из земли

камни по тысяче пудов выворотит. Енисей здесь ломает лед не такой, как на юге, что сам уже иголочками рассыпается. В Дудинке он крепкий, зимний и на изломе гладкий, как стекло. Как же такой лед, при двухметровой его толщине, разломать и на берега еще навалить горами? Это только один Енисей может. Только у него одного такая силища.

Вот и теперь, хотя был июнь уже в самом разгаре, вдоль всего берега здесь лежала толстая белая гряда ломаных льдов, из-под них сочилась вода и расквашивала глину.

Вижу, впереди нас Шура карабкается, где за камень, где за льдину схватится, а в руке у нее небольшой чемодан.

Надо сказать вам, что в Игарке я купил ей духи, именно «какие-нибудь», — кажется «Анемон» за пятерку, потому что в береговом ларьке лучших не было. Отдал флакончик, сказал: «Вот, пожалуйста» — и тут же улизнул. Она не успела сказать и спасибо. И потом я вплоть до Дудинки опять очень ловко на глаза ей не попадался. И это было опять сам не знаю почему.

Сейчас мне тоже не хотелось догонять Шуру. Лучше, если бы мы одни, парни, пошатались по Дудинке. Но Илья заорал во все горло:

— Шурка, подожди!

Она сразу остановилась. И, когда мы оказались все вместе, Шурин чемоданчик пришлось взять мне, сами понимаете — кому больше? А чемоданчик, между прочим, оказался очень тяжелым. Я боялся, что Шахворостов опять начнет свою болтовню и тогда мне придется с ним снова скандалить. Но Илья хотя и нес, как ему полагается, всякую чепуху, а насчет Шуры помалкивал.

Раз с нами в компании девушка — значит, всем нужно идти в кино. Тумарк этому очень обрадовался: по его вышло! Но Шура вдруг отказалась:

— Мне нужно вот это знакомым передать.

Ну конечно, всякие тут восклицания, а решили так. Билеты взять на всех, я Шуре помогу поскорее отнести чемоданчик, а ребята будут нас ждать у входа в кино.

И вот мы пошли вдвоем. Я спросил: «Далеко ли?»

Шура ответила: «К вокзалу». Это значит — через весь город. Ничего себе. Досталось бы ей без меня. Разве на автобус бы села.

Разговор у нас был самый пустой и отрывистый. Может быть, потому что шли мы не рядом, а гуськом. Тротуары здесь узкие, а встречные то и дело заставляют сторониться, давать им дорогу.

Я между прочим поинтересовался, что там наложено у Шуры в чемодане такое тяжелое: железо или стекло? Шура ответила не сразу — шла впереди меня, и я даже подумал, что она не расслышала мой вопрос. Потом остановилась:

— Костя, ты устал? Дай тогда, я сама понесу.

Я говорю:

— Ничего я не устал. Просто поинтересовался.

И вот глядит на меня уже не Шура, а японский дипломат барон Танака. Потом глазами как сверкнет, девичьим смехом как брызнет:

— Картинки, Костя! Картинки на стекле. В Норильск перешлю, там их нарасхват, лучше чем в Красноярске покупают.

А сама не пошла — побежала. И все хохочет, хохочет: «Ой, глупый! Ну и глупый же, Костя! Поверили...»

В квартиру к ее знакомым я не пошел, остался ждать Шуру на улице. Как часовой, долго ходил возле дома взад и вперед. Потом надоело, и я отошел к переезду, где по рельсам бегала маневрушка, совсем такая, как у нас в Красноярске на станции, волочила за собой длинные сцепы вагонов; пахло угольной гарью, мазутом, позванивали буфера, и я вовсе забыл, что стою далеко за Полярным кругом, на самом краю земли.

В Дудинке я бывал много раз и, если позволяло время, обязательно выходил в тундру. Понимаете, интересно все же. Притом недалеко, по сути и город-то сам весь прямо в тундре, выди на окраину — и сколько хочешь любуйся. Но тундра, между прочим, кто в ней не бывал, а только мысленно себе ее представляет — вовсе не гладкая и ровная, как степь. Она вся из бугров и низинок. На холмах кустники, а в низинках — болотца, вода. Напрямую летом по ней никак не пройдешь, обязательно где-нибудь да завязнешь в трясине. Из-за этих самых бу-

горков, кстати, и широкого обзора нет. А мне все хотелось на тундру взглянуть с самолета либо, на худой случай, с высокой горы. На самолет Косте Барбину не попасть. Куда он и зачем полетит? А вот на гору, хотя и не очень высокую, можно подняться. Есть такая возле самой Дудинки, недалеко от железнодорожного вокзала. Вернее, не гора, а холм, если придерживаться учебников географии. Но где нет хребтов настоящих, там и любую кочку уже горой зовут.

— Костя, что тебя там заинтересовало?

Это Шура. Я и не заметил, как она подошла.

— Да вот думаю: хорошо бы оттуда, с горы, на тундру взглянуть.

— Ну, так пойдем! Мне тоже хочется.

— А как же кино? Ребята нас ждут.

— Подумаешь! Убыток большой, пропадут наши билеты. В кино с тобой, Костя, мы сходим всегда, а на эту гору...

И мы пошли.

У меня на ногах были рабочие ботинки, у Шуры — туфли-микропорки. И, пока мы шли по дороге, это было ничего. Но дороги на самую гору нет. Мы свернули нацело, и тут началось. Вот, будто и сухо, а наступи — сразу почва продавливается, в глубине вода начинает похлюпывать, и если быстренько ногу не выдернешь — в ботинок тебе нальется. Выдернуть ногу... А куда потом ее поставить? Все равно, везде одинаково. В общем, через десять минут мы промокли насовсем, а вперед почти не продвинулись, все крутились меж бугорков и болотцев. И чем дальше, тем было хуже. Отдохнуть бы — присесть не на что.

Сперва мы хохотали, когда особенно глубоко увязали в трясине. Потом Шура стала без смеха уже говорить: «Костя, ну и забрались мы с тобой. Как обратно выйдем?» Будто мы до конца уже дошли. Потом, еще позже, стала ворчать: «И чего это ты затянул?» Хотя силой никто ее сюда не тащил, наоборот, она меня сперва повела. А еще позже и совсем остановилась: «Нет, больше я не могу!» Руки повесила, и в глазах такая пустота, какая бывает, когда человек вот-вот в обморок упадет. Стоит и одно повторяет: «Не могу. Костя, я не могу».

А вдруг и действительно упадет? Хоть и в штанах, а ведь девушка. Такой силы, как у меня, конечно, нет у нее. Один я, так прошлепал бы через любые трясины, но поглядел бы с горы на тундру. Теперь думай, Костя, о другом: как к теплоходу выбраться.

Подошел я поближе к Шуре, помог перейти на какую-то кочку, где было чуточку все же посуше. Говорю:

— Ну, не думал я, что ты такая...

Она тихонько руку положила мне на плечо.

— Какая?.. Ну?..

— Слабая!

— Правда... Зато ты — сильный. Как хорошо!

И повисла совсем. Не поддержи я рукой, села бы в сырость.

Так вот и стоим, как скульптуры в городском саду. В лицо мошка сечет, над лужицами какие-то белые мотыльки порхают, солнце от воды отражается, глаза слепит. Все болотца, словно щетиной, молодой пущицей затянуты. Сейчас она зеленехонька, а будь к осени — можно подумать, снег выпал. В гору мы как следует не поднялись, но стоим все же повыше Дудинки, и лежит она перед нами, как на карте: любую улицу и переулочек видно. А за городом Енисей. А за Енисеем опять тундра, среди зелени рябь озер серебристая. И бегут, бегут над ней мелкие кучевые облака, словно шапочки белой пущицы. А горизонта вроде бы и вовсе нет, нет края земли — просто щель в небо. И я представил себе, как все это было бы видно с горы!

С севера, от океана, холодный ветер дует, воздух чистый, в тундре нечем ему запылиться. Над рекой воздух тоже чистый, но там какая-то другая, своя, речная чистота. И та мне родная, а эта — нет. И с горным ветром тундровый ветер тоже никак не сравнишь. Тот мягкий, словно бы льется, прохладой своей и ласкает и живит, а этот — резкий, сквознячком тебя так и прошивает.

— Костя, ноги у меня совсем закоченели...

Чувствую, как дрожь перетряхивает Шуру. Прижал я к себе ее и повел. Теперь уже все равно, направимся, через какие попало трясины, только поскорее бы на сухую дорогу выбраться.

Но перед тем как пойти, в последний раз я обернулся

ся, поглядел на гору. Что это? Померещилось мне или вправду там, на самой вершине, я увидел тоже двоих? Далеко. Фигуры мелконькие, но я их узнал. И не то, что чувство зависти к Маше и Леониду или досада на Шуру — что-то вовсе другое появилось у меня. Вроде бы так: они сумели, а мы — нет. И еще: с Машей я тоже сумел бы. А тогда, где-то там далеко, в самом затылке, завозилась ужасно обидная мыслишка: сзади нас идут Леонид с Машей и потешаются, как мы тащимся по трясине. Почему-то припомнилось: «Во Францию два гренадера... брели и оба душой приуныли...» Это Маша когда-то декламировала такие стихи.

И хотя все это было ох как неприятно, но я честно и от души помогал Шуре. Чем же виноват человек, если сил у него не хватило?

Пока мы тащились по болоту и полярные березки хлестали нас своими жесткими сучьями по ногам, разговора у нас, можно сказать, никакого не было. Шура только иногда вскрикивала: «Ой, Костя!» — будто это я хлестал ее березками. А я уговаривал: «Ты потерпи». Или: «Теперь недолго». Но когда у нее вдруг вырвалось: «Так больно же, Костенька, милый!» — этим «милым Костенькой» она вовсе застегнула мне рот.

В общем, не знаю почему, но с Машей вдвоем так неловко себя никогда я не чувствовал.

Едва мы выбрали на твердую дорогу, Шура сразу переменилась. Сняла руку с моего плеча и пошла легко, будто и не было у нее усталости. А я подумал: вот как быстро может человек отдохнуть. А Шура теперь говорила и говорила. Что-то примерно такое: «Ну, буду я знать, что это за тундра! Рассказать маме — в ужас придет: дочь моя, какая ты героиня! Костенька, нам нужно было наломать этих сердитых полярных березок. Приедем в Красноярск, доказать нашим, что мы были в тундре. Ох! И как только здесь люди живут?» Мне было очень щекотно от «Костеньки», а что она говорила «доказать нашим» — и вовсе запутывало: кому — «нашим»? Но я все же старался болтать ей в тон.

Если разобраться, скучно с Шурой мне в этот раз не было, даже когда я тащил ее чемодан или потом, когда мы оба сами тащились по трясине, а теперь — и

тем более. Но и радости от прогулки, удовольствия настоящего тоже не вышло. И дело вовсе не в том, что промокли мы и грязью захлюпались. С Машей тоже разве не мокли мы? Вся штука в том, что со мной происходит что-то такое... Ну, вот, наверно, как у Леньки, когда он в первый раз стал варить кашу и сам не знал, что из этого выйдет!

Наконец добрались мы до теплохода. Ноги у нас уже подсохли. Конечно, только обувь снаружи, а слякоть внутри — куда ее денешь? Но Шура без всяких поволокла меня к себе в каюту: «Костенька, времени у нас еще час целый». Поволокла так, будто боялась, что я опять надолго от нее удеру. Но я сказал, что сперва все-таки надо помыться и обувь сменить.

Ребята из кино вернулись давно. Сидят втроем, обсуждают картину. Накинулись на меня, что ждали нас, дескать, до последней минуты и из-за этого даже пропустили журнал. А журнал был «Новости техники», очень интересный. Нападали, собственно говоря, только Тумарк с Петей, с Петром Фигурновым, а Илья смотрел, как я стаскиваю грязные ботинки, и ехидно улыбался.

Вдруг заходит штурман Владимир Петрович:

— Все — в машинное отделение!

— Что такое?

Оказывается, механик обнаружил в какой-то там муфте трещину. Надо срочно менять, поднимать машину. Ладно еще, что в пути беды не случилось.

— Бывает, — говорит Владимир Петрович.

— У сапожников бывает, — говорю я.

Покосился он на меня:

— Тебя, Барбин, не поставить ли главным механиком?

— Сапожником быть не хочу, Владимир Петрович.

А механики — все сапожники. У них вечно что-нибудь да случается.

— Это верно. Машина — дело сложное. А у матроса чему случиться? Разве рука сорвется да из шланга пассажиров он водой окатит или трапом кому-нибудь ногу отдавит. Ну, айда вниз!

Последним выходил я. Повернулся случайно к иллюминатору и увидел, что по мосткам на теплоход поднимается Маша. С тех пор как мы пошли на Столбы, мне

кажется, я не видел ее одну. Леонид всегда, как злой дух, торчал возле Маши. И я невольно задержался, обшарил глазами весь берег, все спуски-тропинки с него: не приотстал ли он просто? Нет, его не было начисто! И у меня мелькнула веселая мысль: может быть, он утонул в трясине?

В машинное отделение нужно было идти направо. Но я побежал налево, нарочно, чтобы в пролете столкнуться с Машей и сказать ей: «Доброе утро!» Хотя по часам было, пожалуй, около одиннадцати вечера. Маша могла бы задержаться, остановить меня и поговорить о чем-нибудь. Но она прошла мимо и на ходу бросила:

— Здравствуй, Костя. Спокойной ночи!

Мы долго копались в машине, помогая «сапожникам», и вывозились в масле как черти.

Что мы проделали? Вытащили эту самую муфту. А потом главный «сапожник»-механик с Длинномухиным и Петей, Петром Фигурновым понесли ее в мастерские морского порта, чтобы по образцу выточить другую взамен. А помощнику своему и нам главный механик поручил к этому времени что-то такое подготовить еще. Вот я все время говорю: «какую-то», «этую самую», «что-то такое». Но не потому так говорю, что в технике боюсь вас запутать. Просто я сам ничего в ней не смыслю и, пока мы возились в машине, не запомнил ни названий деталей, ни даже того, как они действуют и взаимодействуют. Хотя механик по ходу дела и старался нам объяснить. Честно признаюсь, не запомнил еще и потому, что какой-то дядя долбил мне голову: «Зачем матросу все это нужно?»

А дальше — ушел главный механик, и конец. С его помощником не ладится дело у нас. Орет он, ругается, как папа-Шахворостов, а толку нет. И мне становится ясно, что сам он в машине «ни бум-бум», а криком своим заранее на нас вину перекладывает. Вот, дескать, это мы такие тупицы, что все делаем не по его указанию и только портим.

Оно и верно. Должен был я отвернуть гайку. Но, при всей силе моей, гайка никак не идет. Ну, вы подумайте! И тогда этот самый помощник механика мне говорит:

— А ты постучи, Барбин, по ключу молотком.

Пожалуйста! Стукнул раз, и два, и три, и посильнее. Как прикипела гайка, ни на волосок! Ну, я тогда и ахнул как следует. Ключ пополам. Тоже, наверно, как в муфте, была в его рукоятке тайная трещина.

Тут помощник механика от крику прямо наизнанку весь вывернулся. Но мне на это плевать, мне интересно: да что же это за гайка, что за чудо такое? И тогда подходит цыпленок Марк Тумаркин, подумал, почесал у себя за ухом, взял обломок ключа и спокойненько отвернул гайку. Как? Да просто она оказалась с левой резьбой...

Помощник механика издевается:

— Головой, Барбин, думать надо.

Вообще-то, конечно, головой... Интересно, сам чем он думал, когда заставлял меня колотить молотком по ключу, если знал, что гайка с левой резьбой? Я промолчал, не стал огрызаться. Но злость в душе у меня в этот момент ворохнулась лютая. И не к «сапожнику», а к этой самой технике. Получается, я, Костя Барбин, перед какой-то гайкой в дураках оказался! Да если бы я захотел... Готов на спор: разберите до последнего винтика любую машину и замкните потом меня одного, даже без хлеба, в помещении, где она распластанная лежит. Соберу! Умру — а соберу. Ведь это все как настроишь себя, на какой лад. Маше, когда она пошла учиться на радиостанцию, я подивился: трудно. А Маша тогда сказала: «Не боги горшки обжигают». Вообще-то, правильно. И Костя Барбин может обжечь.

Вернулся главный механик, покачал головой: у нас не шито, не порото. Махнул рукой:

— Ладно, ребята, ступайте. Теперь я уже сам здесь займусь. Муфту нам не скоро выточат.

— А как же тогда? По расписанию пора уже выходить из Дудинки.

— «Как, как»! Без машины все равно не двинешься.

Стало быть, выйдем с опозданием. А Иван Демьяныч беда как не любит опаздывать.

Вылезли мы из машинного отделения, отмылись и пошли кто куда. Шахворостов с Фигурновым спать, Тумарк — снова на берег, а я — в корму теплохода, на палубу, в кресло, в котором любил сидеть Иван Андреич.

Сел — подумать. И почитать его книгу. Я ведь совсем забыл сказать вам, что она действительно в каюте у него оказалась. Но мне проводница отдала ее, когда мы уже подплывали к Дудинке.

Вы спросите: а какая же надпись была в книге сделана?

Вот какая:

«К. Барбину.

Юный друг мой, если тебе не хочется читать эту книгу — сразу брось ее в Енисей.

Ак. И. Рошин.

Теплоход «Родина», 1954».

Я долго ломал голову, почему он подписался: «Ак. И. Рошин. Что это за «Ак.»? И вдруг сообразил: академик. Ничего себе! А я-то считал его за простого инженера...

Книга Ивана Андреича начиналась так:

«Вот я стою у края земли, и возле ног моих неумолчно плещется море. Оно подвижно, оно всегда подвижно. Вода — это движение, может быть, на первый взгляд незаметное или непонятное. А движение — это энергия. Сила. Сила воды — вечная сила, которая служила всем поколениям человечества. Но за всю долгую жизнь земли человек не взял от воды ее силы столько, сколько он мог бы взять, и сколько он будет брать когда-нибудь в один, может быть, год. Этого достигнет, добьется ум человеческий...»

Когда книга академика начинается так, разве бросишь ее в Енисей?

Глава шестнадцатая

О ЧЕМ Я ЗАДУМАЛСЯ

Так была написана не вся книга Ивана Андреича, а только предисловие на четыре с половиной странички. Потом — фразы читались тоже легко, но в каждой из них сидело одно, а то два и три совершенно незнакомых мне слова. Иногда я догадывался, что оно значит, а чаще становился в тупик.

Иван Андреич мне говорил: «Читать ее скучно. Но ты стисни зубы и читай. Три, четыре раза одно место перечитывай, пока до корня в нем не доберешься. На непонятное слово наткнешься — спроси, поищи в словаре. Не забегай вперед, пока не разберешься в прочитанном. И так иди до конца».

Тогда мне это показалось чем-то вроде коротенького рассказика о китайских мудрецах. В «Огоньке» я читал. В этих рассказиках всегда есть второй смысл, который сразу и не заметишь. Тогда в словах Ивана Андреича я тоже не уловил второй смысл, хотя чувствовал, что он есть. Теперь я понял, в чем тут штука. Если ты, Костя Барбин, дочитаешь эту книгу до конца и все, все в ней поймешь до последнего слова — ты выучишься сам так, как любой инженер, для которого написана эта книга. Вот оно что! И вот что тогда значат слова: «Если тебе не хочется читать эту книгу — брось ее в Енисей».

Да, тут подумаешь... Эти слова до единого все понятные, в энциклопедию лазить не надо. А ведь что за ними стоит? Сколько в этой фразе еще не написанных слов? Разве нет здесь такого: «Если ты, Барбин, считаешь, что жизнь моя прожита бесполезно, — не читай эту книгу. Если ты думаешь, что свою жизнь сумеешь сделать более полезной, чем я свою, — не читай эту книгу. Если тебе вовсе нечему от меня научиться, — брось книгу в Енисей»? И еще такого: «Юный друг мой, вот я, старый инженер, академик, поверил в тебя, поверил, что ты не проживешь свою жизнь напрасно, мелко и для людей бесполезно. Моя жизнь, мои труды принадлежат всем, читай кто хочешь. А я передаю свой труд тебе особо. Одни его просто прочтут, а другие могут продолжить. Я хочу, чтобы ты продолжил его. Сейчас тебе это странно слышать. Но ты ведь Барбин! Ты сам говоришь: Костя Барбин очень сильный. Неужели твоей силы хватает только, чтобы свои матросские дела делать? Нельзя работать меньше своих сил, меньше своих способностей».

Ладно! Ясно, что за надписью Ивана Андреича не договорены все эти слова. Книга у меня в руках. Я прочитал в ней интересное предисловие. Все в нем понял. Остальное, захочу — тоже пойму. Но дальше книга по-

шла скучнее. И читать ее, честно говоря, мне поэтому только и не хочется. Как быть?

Не читать? Положить в сундучок на память или перелистать с пятого на десятое? Но это ведь и будет — бросить в Енисей! Не в том дело, что Иван Андреич придет проверять, где она у меня. Он не придет. Тут дело только моей совести. Поэтому он так и написал. Вот ведь сделал подарочек!

Прочитать так, как хочет Иван Андреич? Прочитать и понять все до последнего слова... Ого-го! Знаем, что это значит! А главное в другом: для чего? Только, чтобы не сфальшивить перед своей совестью — раз, и уважительно отнестись к Ивану Андреичу — два? Ради этого он и сам не стал бы дарить свою книгу. Словом, куда ни поверни, все идет вразрез тому, как привык я до этого думать.

Прежде я не мучил себя размышлениями. Поймал одну какую-нибудь мысль по радио, другую подцепил из газеты, третью подсунул Вася Тетерев, четвертую — Илья Шахвостов. И, пожалуйста, как говорится — программа жизни на текущий день. Что твои войлочные туфли: удобно, тепло, нигде не жмет!

А тут я и не заметил, как встал и начал сновать по корме, потом обежал весь теплоход и, наконец, остановился у перил, как раз против окна радиорубки. Отсюда очень хорошо была видна золотая даль Енисея, как море, совсем без берегов. На реке стояла безветренная тишина, вода сверкала под ночным солнцем, гладкая, как зеркало, но все-таки было понятно, что она движется.

И мне припомнилось начало из книги Ивана Андреича: «Вот я стою у края земли, и возле ног моих неумолчно плещется море». Я тоже стоял у края земли, и у ног моих струился, двигался Енисей и чуточку плескался в борт теплохода. Иван Андреич стоял у края земли не зря, он написал важную и нужную книгу. А я? Вот постою еще немного и пойду спать. Иван Андреич сегодня уже, наверно, слазил в шахту мерзлотной станции. По круто поставленным лестницам-стремянкам ему с негнущимися ногами спускаться было трудно, тяжело. Я тоже сегодня ходил по вечной мерзлоте, но, как козел,

легко прыгал с кочки на кочку. Иван Андреич сейчас, наверно, сидит и обдумывает тайны, какие в шахте ему открыла вечная мерзлота. Какие тайны открыла она мне, когда я шлепал по болоту?

Хотя это и походило на игру и ясно было, что сравнивать себя с Иваном Андреичем просто глупо и смешно, но все-таки это было интересно. И вот почему. Что я ни прикидывал на Ивана Андреича, получалось — он живет, работает для пользы всех людей. А на Костю Барбина поверну — у него все для себя. То есть не так уж, чтобы совсем только для себя, любая его работа, конечно, и другим тоже пользу приносит, но для Барбина это не цель. У него цель, чтобы в мускулах сила играла, свежий речной ветер бил в лицо, перед глазами красота Енисея стояла. Потому ничего лучше матросской вахты для него и нет. Для него, конечно, куда приятнее стоять вот так, у перил, чем, скажем, читать книгу Ивана Андреича или, к примеру, возиться в машинном отделении. Вот они, механики, «сапожники», стучат и стучат себе молотками по железу...

И вдруг меня резнула такая мысль. А эти вот «сапожники» молотками свое все же выступают и наш краевец теплоход после этого опять свободно и гордо поплынет по Енисею. А я даже гайки не сумел отвернуть, только ключ сломал. Блеснул, что называется, умом, смекалкой! Хвастаюсь силой своей. А на что она у меня — стоять, как сейчас, на палубе, грудь колесом?

Тогда я снова раскрыл книгу Ивана Андреича и снова перечитал все предисловие. И вот диво: сейчас я в нем вычитал и еще что-то новое, будто, пока я стоял и держал книгу в руках, Иван Андреич каким-то хитрым образом прибавил в нее другие слова, другие мысли. Теперь он говорил еще, что этот труд не одни его личные наблюдения; для этой книги, сами того не зная, подготовили за столетия огромнейший и самый ценный материал тысячи разных исследователей, имена которых по большей части и неизвестны. Тут и ученые статьи, и заметки в газетах, и дневники экспедиций, и записи старожилов, и даже предания и легенды. И вот все, что в разных местах и разными людьми с большой мечтой о будущем создавалось в народе, теперь должно быть

возвращено народу. «Я сделал только то, что делают наши женщины на селе, готовясь печь хлеб, — я просеял муку, очистил ее от отрубей и случайного мусора, — писал Иван Андреич. — Пусть из этой муки теперь пекут булки другие. Мука хорошая, я ручаюсь. Пусть булки будут такие же хорошие, как и мука. Их должно испечь для тех, кто вырастил зерно, кто собрал, сохранил и размолол его. Словом, для всей семьи».

Отец Ильи Шахворостова, шофер, рассказывал, что ездил он по Тувинскому тракту, через горные, снежные вершины Саян. Там, говорил он, на спусках есть такие крутые повороты, уму непостижимо — бывает, что шофер сам себя в профиль видит. Вот в этот раз похоже, и я сам себя увидел в профиль. И в первый раз сам себе превосходным парнем не показался.

Приближалось время вступать на вахту, а я нисколько не спал. Конечно, еще можно было спуститься вниз и хотя бы на полчасика прикорнуть. Но так красиво светило ночное солнце, так весело играло оно на реке, что я подумал: «Какой бы замечательный и красивый сон ни приснился, лучше того, что я вижу теперь, все равно он не будет. Постою на палубе еще».

И тут вдруг сообразил, что стою как раз против радиорубки и Машиной каюты. Зачем я здесь остановился? Я стал тихонько передвигаться вдоль перил, но не вытерпел и повел глазом на Машину окно. Оно было открыто, жалюзи тоже спущены. Тогда я осторожно чуточку подшагнул вперед и увидел Машу. Она спала. Но не в постели, а прямо у окна, за столиком, положив голову на руки, как засыпал Ленька, когда ему не давались уроки. Словно бы Маша кого-то ждала да так и не дождалась. И мне стало досадно на себя: как я не заметил открытого окна сразу? Выходит, стоял целый час, а Маша любовалась на мою спину, ждала, пока я уйду, и уснула. Интересно только, кто прежде — я подошел к перилам или Маша села к окну?

Я прошел мимо окна близенько-близенько, ступая на носках. Машина постель была не раскрыта. Из окошка пахло сладкими духами. Я слышал, как ровно дышала Маша, и плечи у нее чуточку то поднимались, то опускались. В руке у нее был зажат поблекший желтый тунд-

ровый цветок, а рядом лежало несколько веточек полярной берески с жесткими зазубренными листьями. Берески были не сломаны, а срезаны по-мужски ножом, косым, решительным размахом.

С другого борта теплохода был виден берег, весь заваленный длинным поясом льдов. Ниже, на сырой гальке, у мостков, по которым заходят на дебаркадер, и вверху, по кромке берега, — всюду сидели с ворохами вещей пассажиры, ожидающие посадки. Если бы не поломалась машина, они давно бы уже были в пути.

Прошел сонный Петя, Петр Фигурнов. Я спросил: не знает ли он, скоро, нет мы поплывем? Фигурнов винтом вывернул шею:

— Черт его знает! Говорят механики: еще часа на четыре. В мастерских неправильно муфту выточили.

Он ушел. А я с обидой подумал: в Нижне-Имбатском пять теток каких-то я на час задержал, не пустил на теплоход. Маша это заметила: нехорошо сделал Костя Барбин! А вот, что сейчас на берегу, тоже в сырости и холода, у воды, у льда, пятьсот человек сидят, дожидаются, и тоже их непускают, потому что правило — посадка за час до отхода — этого Маша не видит. «Костя, нам до всего должно быть дело!» Показать бы ей это — интересно, что теперь сказала бы она? Многие пассажиры с детишками, им спать хочется. Солнце-то на небе, светит, а по часам — глубокая ночь, скоро четыре.

И что-то меня словно хлестнуло, погнало вверх, в рулевую рубку. Понятно, там никого. Не станешь рули вертеть, когда теплоход у причала стоит! Капитанская вахта еще не кончилась, но что на палубе делать Ивану Демьянычу, пока не справятся с муфтой «сапожники»? Конечно, греется чайком у себя в каюте. Но я ошибся. Иван Демьяныч попался мне на лесенке, когда я стал спускаться вниз. От него отдавало запахом нефти, наверно, он лазил смотреть машину. Остановился.

— Как же это ты, Барбин, ключ сломал?

— Я бы и вал коленчатый сломал, Иван Демьяныч, если бы меня заставили бить по нему молотком.

— Ну, заставили... А сам-то ты что же? Боль железа не чувствуешь? Ему, Барбин, тоже больно, когда бьют не в то место.

— Так, Иван Демьяныч, гайка-то с левой резьбой оказалась. А ключ — с трещиной.

— Не объясняй, все знаю. Вот я тебя поставлю к рулю и скажу: «Держи прямо на створы». Так ты к этим створам и на берег выскочишь?

— Это другое дело, Иван Демьяныч.

— Везде думать надо, Барбин.

Помощник механика, сам во всем виноватый, с подковыркой, с ехидцей сказал мне: «Головой, Барбин, думать надо». Иван Демьяныч просто, с расположением даже ко мне говорит. Он не прибавил обидного слова — «головой». И то самое, что меня подхлестнуло побежать наверх, в рубку, теперь дернуло еще раз испытать Ивана Демьяныча, подерзить ему, как в Корабликах — помните? — с птичкой.

— Головой думать, Иван Демьяныч?

И, как тогда, сказал я и понял: через край. Только теперь совсем уже с большим перехватом. Но Иван Демьяныч и тут не рассердился. Помолчал, поглядел на меня и подтвердил негромко:

— Да, Барбин, головой.

Ага! Если так...

— Хорошо, Иван Демьяныч, — говорю, — вы отдайте приказ за сломанный ключ с меня высчитать. А сейчас скажите: это головой думано, что на берегу пятьсот человек полдня сидят и неизвестно, сколько еще сидеть они будут?

Не то чтобы улыбнулся Иван Демьяныч, но повеселело у него лицо.

— Не собирался я с тебя за ключ высчитывать. Сам просишь? Хорошо, уплати. А пятьсот человек пусть еще на берегу посидят, пока машину не наладим. Это головой думано.

— А вы сердце человеческое, беспокойное, почему в расчет не берете, Иван Демьяныч? Люди ведь извелись ожиданием. Кому поспать, кому поесть хочется. Детишки... — говорю и чувствую, замечаю, не свои слова говорю. От кого-то эти слова я сам уже слышал. От кого?

— «Сердце»... Это верно. Только есть ведь, Барбин, и правила.

— Интересно, — говорю, — неужели, Иван Демьяныч,

по правилам и с вас тоже спросится, если вы сейчас погудите? Зато люди-то как будут радоваться!

Весь этот разговор был у нас в проходе. С одной стороны — стеклянная перегородка над машинным отделением, с другой стороны — умывальные комнаты. Берега не видать. Повернулся Иван Демьяныч и молча пошел. А я и не знаю: стоять мне или за ним следовать. Провожаю глазами. Остановился он у пролета, взглянул на часы, потом на берег и — в мою сторону. Сделал знак рукой: подойди, дескать.

— Начинать посадку сейчас, Барбин, нужно всех проводниц будить, поднимать. Подвахту тоже. Ставить матросов на контроль. Спят ведь люди.

— Посчастливило им? — говорю.

— Пусть — «посчастливило».

— А я так считаю, Иван Демьяныч: пусть лучше посчастливит тем, кто на берегу.

— Успеют они высаться.

— Наши тоже успеют высаться.

— Так, значит, гудеть?

— По-моему, гудеть, Иван Демьяныч.

— Н-да... А теперь слушай: там, где есть настоящая дисциплина, строгие порядки, правила — от них никогда не отступают. Как полагается делать нам по правилам, матрос Барбин?

— Ждать, пока машину поправят, товарищ капитан.

— Ну вот, и будем ждать. Ты когда заступаешь на вахту?

— Уже на вахте я, Иван Демьяныч.

— Так чего же ты стоишь? Или делать нечего? Спроси себе работу у боцмана.

И голос у него стал сразу такой твердый и жесткий, что спорить, пререкаться уже нет никакой возможности.

Пошел я, конечно, не Тетерева искать. А просто, опять вокруг теплохода. Мимо радиорубки. Маша все спала, только теперь на другой щеке. «Костя, нам до всего должно быть дело...» Ну, вот вам, пожалуйста, и до всего. А правила есть правила. Их не перешагнешь. Хотя, если разобраться, Иван Демьяныч, конечно, мог бы перешагнуть, да капитанское самолюбие не позволило. Это — факт. Матрос, видите ли, советы подает и еще

говорит ему: «А это головой думано...» По правилам, за такой разговор матроса и с корабля списать не грех.

Но тут я задумался. Если бы так — чего Ивану Демьянычу со мной церемониться? А он отошел, хотя и строгий, но не рассерженный. Похоже, что поколебал я его, даже убедил, но не до конца — волосинки, может быть, одной не хватило, чтобы принял он другое решение. Эх! Ну, а почему же этой самой «волосинки» у меня самого не хватило? А? Скажи, Барбин, честно! И я сказал. Да потому, что сам себя я по-настоящему не убедил. Загорелся — и тут же остыл. Отказал Иван Демьяныч, и мне даже в чем-то легче стало — неправильно, дескать, Маша обвиняла меня после Нижне-Имбатского. Конечно, нам до всего должно быть дело, но существует и дисциплина, твердый порядок, правила... А все же нехорошо, что столько людей на берегу томится.

И я опять задумался.
Вдруг загудел гудок.

Глава семнадцатая

«ШАГАНЭ ТЫ МОЯ, ШАГАНЭ!»

Из Дудинки мы вышли с опозданием на тринадцать часов! Добро бы осенью, когда туманы, или был бы у нас другой капитан...

Ведь это срам какой будет: в летнюю пору прибыть в Красноярск с опозданием! И нагнать тринадцать часов только за счет скорости хода — тоже не шутка! Тем более что еще неизвестно, как поведет себя новая муфта.

Вся команда теплохода у нас ходила какая-то сама не своя. Вроде бы даже пассажирам в лицо смотреть было неловко. Честь корабля — это ведь много значит.

Вася Тетерев собрал комсомольцев: «Я думаю, ребята, мы примем обязательства: ликвидировать опоздание

теплохода и уже в Енисейск прибыть вовремя. Мы можем этого добиться. Я думаю, мы этого добьемся. Мы все должны удвоить свои усилия». И хотя, пожалуй, никто из нас не представлял ясно, каким именно образом мы будем удваивать свои усилия — такое обязательство мы все же приняли. Тут же выпустили «молнию» — стенную газету, а Вася сразу радиовал об этом в Красноярск. Только один Шахворостов после собрания пожал плечами: «Ведь все равно что так, что этак; а быстрее того, как может машина, мы не пойдем. Значит, с одних механиков и нужно было брать обязательство». Толкнул меня в бок: «А ты, наверно, будешь удваивать усилия, Костя?» И я со злостью сказал ему: «Буду». Пусть я и не знал, как это выйдет на деле, но я хотел этого. А Илья издевался над нашим желанием наверстать упущенное, и слушать его поэтому было противно.

Мне очень хотелось разгадать, почему в Дудинке Иван Демьяныч все же дал гудок не за час до отправления, а много раньше. Неужели это меня он послушался? Или собственная совесть заставила? Толком узнать я ничего не мог. Каждый матрос объяснял по-своему. Вы скажете: так взять и спросить самого капитана! Но в том-то и штука, что спросить его было никак невозможно. Лицо такое, что не только об этом спрашивать — вообще язык не повернется. Стоит тот самый капитан, которого все матросы боятся. Вызовет, даст распоряжение, скажет и припечатает последнее слово так, что своего слова тебе уже и не выговорить иного, кроме как «Есть!»

В низовья Енисея, особенно в солнечные ночи, я плавал всегда с большим удовольствием. Очень крепко врезается в душу картина здешних бескрайних просторов, каких нигде больше не сыщешь. Но, между прочим, в Красноярск возвращаюсь я уже не с удовольствием даже, а с радостью. Потому что это и город мой самый любимый и дом родной. Так что, когда на север плывешь, чувство одно, а когда к Красноярску путь держишь — вовсе другое. Теплоход против течения сам по себе идет медленней, а если к этому присоединить еще свое нетерпение, то, вы сами понимаете, как тут счи-

таешь все повороты. Но в этот рейс, когда «Родина» отвалила от льдистого дудинского берега и начала резать носом теперь уже встречную быструю Енисея, я никакого изменения в чувствах своих не заметил. Словно и нет на реке разных концов — Красноярск и Дудинка, между которыми движусь я, а есть только теплоход «Родина». Это вот, наверно, как у тех, кто в ракете на Марс полетит. Пока они в земном притяжении, у них есть и верх и низ, а как залетят далеко — ни верха, ни низа уже не станет, пожалуйста, как букашка по потолку, гуляй вокруг по стенкам ракеты. А спать можешь в центре, на воздухе, как женщина, которую на диваном поднимает волшебной палочкой фокусник Кио, — видел я это в цирке. Почему такое и со мной произошло — не знаю.

Сразу же после того как теплоход отвалил от берега, а Вася Тетерев провел комсомольское собрание, Шура меня затащила к себе:

— Костя, ну что же это?

Я мог бы, конечно, разыграть дурачка: «А что такое? Не понимаю». Словом, развести канитель, чтобы от прямого разговора уклониться. А я этого не люблю. И когда могу — рублю напрямую.

— Шура, ты знаешь, когда...

А дальше я хотел сказать приблизительно так: «...когда мы вместе, мне от тебя уходить не хочется, а когда уйду — какой-то страх, что опять встретимся. Зачем ты зовешь меня к себе?» Но я не успел этого сказать — может быть, эти мысли только в глазах у меня отразились, потому что лицо у Шуры стало явно какое-то не свое — Танакино, только без улыбки — и она опередила мои слова:

— Ты подумай, Костенька, стихи мы не репетируем, портрет у нас не пишется!

Вы верите, что именно это ей нужно было сказать? Я не поверил. А настроение у меня этими словами она все же сразу сбила, в разговоре нашем выпала ближняя ступенька и до следующей не так просто дотянемся.

— Костенька, ну давай попозирий. Когда художник увлечется работой над портретом, он ведь жить без

этого не может, он только и думает о том, с кого портрет пишет.

Еще одна ступенька вылетела! Теперь по лестнице не вверх поднимайся, а вниз шагай. И, чтобы хотя в чем-нибудь оставаться собой, я говорю:

— Тогда уж лучше Маяковского я почитаю.

— Маяковского... Ну, хорошо. Только... на минутку, присядь на минутку одну! Присядь скорее. Я сейчас у тебя что-то в глазах поймала, я должна непременно перенести это на полотно.

И вот я сажусь, а Шура устанавливает подрамник, берет свой толстый карандаш и опять начинает что-то черкать. Поймала, говорит, у меня что-то в глазах, сама же с карандашом мечется по всему полотну из угла в угол и глядит вовсе не на карандаш, а мне в лицо. И я не могу, я отвожу глаза в сторону, но Шура кричит:

— Костя, миленький, ну только минутку, минуточку одну потерпи, ну посмотри еще в мою сторону. Я сейчас, я сейчас...

Словом, если с вас с кого художники вздумают писать портрет, лучше не давайтесь. Вы и не представляете себе, как это трудно и даже немного жутко, когда вас взглядом насквозь просверливают. А если к этому прибавить и кто просверливает — вы сами хорошо поймете, каково было мне. Особенно после того, как разговор наш сбылся на постоянный для Шуры: «Вот приедем в Красноярск, и мама...» Будто у меня нет своей матери, будто с теплохода я не побегу прежде всего к себе домой!

И все же это самое «мы» слышать тоже приятно. Но как понять его? И как принять его? Хозяин в наших разговорах всегда Шура, куда хочет, туда и поворачивает. А я, как говорится, петушком бегу сзади. Но что тут сделать, чтобы не бегать петушком?

Иван Андреич рассказывал о Поленьке: «А ты, парень, все это на свой аршин меряй...»

Смерять я смерял. А дальше что?

Встаю, перебиваю Шуру и начинаю: «Я волком бы выгрыз бюрократизм...»

Но Шура откладывает в сторону свой подрамник, карандаш и тоже встает.

— Костя! Постой. Ну, постой минуточку. Послушай сперва это:

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ!

— Нравится? Правда, ведь сильно написано? Слушай:

Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз...

И читает, читает. Переходит будто бы на другое:

...Я б порезал розы эти,
Ведь одна отрада мне —
Чтобы не было на свете
Лучше милой Шаганэ...

А в третьем опять:

...Лепестками роза расплескалась,
Лепестками тайно мне сказала:
«Шаганэ твоя с другим ласкалась,
Шаганэ другого целовала...»

Я уже говорил вам, как Шура умеет читать стихи. Видишь все! И вот вижу я эту самую персидскую Шаганэ, будто она, а не Шура стоит передо мной, и с плеча у нее сползает газовый шарф, и падает на грудь тяжелая черная коса, и горячий ветер ночи приносит ей на вытянутую руку, прямо в ладонь, сухой лист горького миндаля... Есенина-то я знаю, читал! Конечно, не всего, книжку его нигде не купишь — читал по списанному в тетрадках: «Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет!» Еще: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне? Будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне». Или: «Пахнет рыхлыми драченами». В общем, поэт такой, что из камня слезу выжмет и у каждого человека заставит сердце дрожать и сжиматься, то от грусти зеленои, то от тихого счастья, которое вот где-то здесь, рядом, а ты не видишь, не замечаешь его.

Шура читала Есенина не с надрывом, как, я слышал, читают другие. У нее словно бы струна в горле звенела

тихим стоном. И это прокалывало тебя насквозь. Лучше было на Шуру не глядеть, потому что тогда казалось: вот это ей в стихах Есенина и самое главное — проколоть человека так, чтобы ему стало больно, чтобы он обязательно застонал.

— Костенька, стой, ты послушай еще вот это... Ах, забыла...

Она сунула руку под подушку, выхватила оттуда книжку. Не ту. И снова втолкнула обратно. А я узнал эту книжку: томик Пушкина, в котором почему-то действуют итальянские дьявол, монах и Рустико. Но Шура тут же вынула и Есенина — под подушкой у нее была, наверно, целая библиотека — и стала читать: «Ты меня не любишь, не жалеешь...» И дальше: «Расскажи мне, скольких ты ласкала? Сколько рук ты знала, сколько губ...»

Самому глядеть глазами на такие строчки еще ничего, но, когда их читает вслух девушка, да не вообще, а только тебе, потому что никого другого рядом с тобой нет, — вот это хуже, чем на народе купаться без трусов.

— Правда, Костенька, вот это стихи? Для одной! Для двоих! Не для публики.

— А почему не для публики? — говорю. — Что хорошо — для всех хорошо.

Я это сказал потому, что надо же было что-то сказать. А голова у меня еще горела. И получилось, будто мне нравятся больше всего именно такие есенинские строчки. Во всяком случае, кажется, Шура мои слова так поняла, потому что сразу же подхватила:

— Нет, Костенька, не для публики, не для всех: «Руки милой — пара лебедей...» Для публики — «Я волком бы выгрыз бюрократизм...»

Эти ее слова сразу весь румянец с меня согнали. Холодом пахнуло от них. И сразу какая-то злая обида захватила меня. Не то, что я так уж сильно люблю Маяковского и только одного Маяковского. Есть много разных хороших стихов у разных поэтов. Есенин мне тоже очень нравится. Но зачем же обязательно при этом Маяковского под каблук Есенину вталкивать? Сразу бас у меня окреп.

— Не знаю, как ты можешь такое про Маяковского

говорить! Да его стихи: «Читайте, завидуйте, я — гражданин...»

Шура ладошкой своей мне рот закрыла:

— Костенька! Смешной и глупый. Да разве, опять-таки, на публике я это скажу? Смешной, смешной! Не такая я дура.

Вы, конечно, думаете: нужно было взорваться, наговорить Шуре грубостей, накричать на нее. Но если человек сидит, простодушно улыбается и по глазам, по губам у него никак не поймешь, всерьез это или дразнит — и верно надо быть смешным и глупым, чтобы взрываться и кричать. Может быть, просто поспорить с ней? Доказать свое. Спор мне все равно не выиграть. Не умею я быстро и ловко цепляться к каждому неудачному слову противника своего. Спор только тогда интересен и красив, когда в нем острые мысли, словно шпаги в картине «Три мушкетера», все время сверкают. И вот я стою и молчу, а Шура хохочет:

— Ох, Костенька, Костенька, до чего же ты глупый! Ну, не делай такое сердитое лицо. Как же я с тебя портрет писать буду? Ты, может быть, проголодался? Хочешь чаю? Вот тебе стихи: «Грязные ногти — зараза, стриги их до отказа». Еще: «Вытирайте ноги на пороге, с вами чтобы не вошли микробы». И еще: «Граждане! Мухи — переносчики всяких болезней, чем «забивать козла» — бить мух полезней». Да ну, не дуйся же, Костенька, это вовсе не Маяковский. Это парикмахер один сочинил такие стихи и вывесил как плакаты над кассой. Сняли. И плакаты и парикмахера. — Смеялась, смеялась и вдруг сделалась очень серьезная. — Как хорошо, сильно и правильно сказал Маяковский: «А пока поэты чиликают, выкипячивая из любовей и соловьев варево, — улица корчится безъязыкая, ей нечем любить и разговаривать». Ах, какой это могучий поэт! Ты знаешь, Костя, ведь и поэтому к Есенину у молодежи так руки тянутся — нам все еще в стихах «нечем любить и разговаривать». Правда?

Так вот, постепенно, она меня окончательно запутала, сбила с толку. И когда велела: «Садись, Костя, буду рисовать» — я сел. Сказала: «Убери со лба волосы» — я убрал. Потребовала: «Теперь гляди на меня» — я стал

глядеть. Связно думать я уже не мог. Получалось что-то вроде одеяла из клинышков. Одна мысль выглядит уголком, к ней сейчас же прилепится другая, к другой — третья. И все разные, друг от друга далекие. Очень часто, самым ярким клинышком, повторялся Иван Андреич: «Я тебе рассказал, парень, а ты на свой аршин это смеряй». Потом: «Любовью девушки не играй. Береги любовь девичью». Тут я пробовал спрашивать себя: «Да разве я играю любовью девушки?» Если бы это была Поленька, я бы сразу же встал и раскланялся: «Извините, переезжаю на другую квартиру». Я бы от нее раньше уехал, чем Иван Андреич. А вот от Шуры я и не знал, надо ли мне «уезжать»? И вообще не знал, как мне Шуру на свой аршин смерять.

Короче говоря, в ее каюте я просидел до самого начала следующей вахты, пил чай с печеньем и не ходил в столовую, хотя полезнее было поесть котлет с макаронами в томатном соусе, которые здорово готовят у нас на «Родине». А Шура все время рисовала. И теперь на полотне видны были уже оба глаза и нос, но не такой, как у меня. Я читал Маяковского, и Шура все хвалила: «Какой чудесный поэт!» А ушел с томиком стихов Есенина. Шура просила: «Костенька, обязательно выучи «Шаганэ ты моя, Шаганэ!»

На вахте работы было по горло. В Дудинке набилось пассажиров на теплоход, как говорится, под завязку. Не только нижнюю, но и всю верхнюю палубу заняли. Люди главным образом из Норильска. Представляете, очень трудную зиму они там провели: и пурга, и стужа, и полярная ночь. Рабочие из горячих цехов, металлурги, шахтеры. Получили путевки в Крым, на Кавказ, а кто и просто так, едет в отпуск, к родным. Тут не то что на палубу — на плот посади, каждый согласится, только бы плот плыл вверх по реке. Но, понятно, при таких обстоятельствах и мусорят люди здорово и прибираться нашему брату матросу труднее. Есть и такая публика: в карты играют, играют, а потом — раз-раз — друг друга по уху! От азарта у них кровь разгорелась, а матросы разнимай! Когда снизу плывешь, всякие картинки бывают. Словом, наработались мы с Петей, Петром Фигурновым досыта, и я только и ждал, когда, наконец, в сто-

ловую побежать будет можно. О чём я ни думал сейчас, а котлеты с макаронами заслоняли мне все..

Вдруг подходит ко мне Шахворостов. Лицо злое, глаза красные. Водкой от него попахивает.

— Ты понимаешь,—говорит,—что я слышал? В Нижне-Имбатском остановки мы делать не будем. Капитан хочет наверстать опоздание. Вот и выкраивает время.

Я только пожал плечами:

— Ну, и что же? Ты же сам всегда говоришь: тебе одинаково, что плыть, что стоять на месте. А я так рад, если прибудем в Красноярск вовремя!

Шахворостов себя пальцем чиркнул по горлу:

— А мне сейчас вот как нужна в Нижне-Имбатском остановка!

— Ну так и остановимся,—говорю.—Имей в виду, там тарифная пристань, капитан не имеет права мимо проплыть.

— Да вот в том-то и штука, что капитан уже запростили Красноярск и оттуда ответили: «Если нет пассажиров — разрешаем проплыть мимо».

— Ну?

— Ну, а на теплоходе нет никого до Нижне-Имбатского. Это я в кассе узнал, у Владимира Петровича выведал. Почты, сейчас у Шурки твоей спрашивал, тоже нет. Будут берег по радио спрашивать: есть или нет пассажиры и почта? А вдруг и там нет? Перед нами прошел «Спартак». Очень просто мог он зачистить.

— Да что тебе далось это Нижне-Имбатское?

И вдруг мне припомнилось. Когда шли мы вниз, была там большая погрузка и выгрузка. Илья бегал куда-то, чуть даже на теплоход не опоздал. Он говорил: к знакомой девушке. Маша сказала: неправда. Но человек-то волнуется.

Говорю:

— Тебя там и верно ждет девушка, что ли?

Илья хмыкнул:

— Девушка! — Но тут же сощурился, по-дружески толкнул меня в грудь кулаком: — Невеста моя. Понимаешь? Мне бы хоть на пять минут приткнулась «Родина» к пристани, только на берег ступить, двумя словами с ней перемолвиться.

Неприятно мне стало. По глазам вижу: врет Илья, на ходу все выдумывает. Ну что ж — его дело. Только из-за этого по-настоящему я и пожалеть его не могу, разделить с ним тревогу. Для порядка, из вежливости все же я помотал головой: «Да, да, да...» Но Илья не отстает. Я пошел, и он за мной. Остановились на носу, у лебедки, где прошлый раз со мной Шура сидела. Плещет вода, как дымок, тонкий туман у берегов стелется. Илья дышит мне водкой в лицо, теребит за рукав.

— Костя, я не могу рисковать.

— Чем рисковать?

— Остановится или нет «Родина». Надо, чтобы остановилась...

— Да ко мне-то ты чего прилип? Я ведь не капитан, теплоходом не командую.

— Нет, ты можешь.

— Интересно, — говорю. — Это как же? Пожалуйста, объясни, и я скомандую.

— А вот как. Ты договорись со своей Шуркой, чтобы она все-таки дала сведения капитану на выгрузку почты. Ну, письма там или посылки.

— Ого-го! — говорю. — Вон ты куда! Только, во-первых, Шура не «моя», а во-вторых, в такие дела я вообще не стану впутываться.

Если бы я порезче Илью оборвал, может, на этом наш разговор и закончился бы. А тут он, наверно, понял меня так, что я колеблюсь, потому и подбираю «во-первых» да «во-вторых».

— Костя, друг, — говорит, — ну, выручи еще раз! Я бы и сам договорился с Шуркой, да она за Тумарка на меня злится.

Сказал, и я вижу — быстренько спохватился он: дескать, не вовремя ляпнул. А меня это, сам не знаю отчего, очень крепко задело. Сразу же вспомнилось, как Тумарк от меня отодвинулся, когда я хотел с ним поделиться насчет Шуры. Он тогда покраснел и сказал: «Не надо, Костя, об этом». Тогда я понял так: парень он скромный, не любит пустозвонить о девушках. Но я тогда и не подумал, что это и прямо с Шурой как-то связано. Теперь от слов Ильи даже дыхание у меня перехватило.

— А при чем здесь Тумарк? — говорю.

И опять вижу — по лицу Ильи тени бегают. Я тоже чувствую: если он сейчас скажет, так что-то такое, после чего не только по делам Ильи, но и вообще не стану я с Шурой разговаривать. Если же не поверю его словам, то, наконец-таки, по давнему своему обещанию, ударю его так, что трудно с палубы ему будет подняться. И первое и второе, сами понимаете, Шахворостову не на руку. Стоит он и только бормочет одно: «Костя, сходи».

— Нет, — говорю, — начал, так рассказывай до конца.

— Пообещай, дай слово, что пойдешь и с Шуркой договоришься!

— Никуда я не пойду, а ты мне все расскажешь!

Оттеснил его к самым перилам. Двинуть кулаком — и за бортом Илья. Но этого я, конечно, не сделал бы. На крайний случай, только за ворот над водой, может, его нагнул бы. А пьяному Илье, наверно, гибель своя уже примерещилась. Лицо у него побелело, губы свело...

— Ну, она Тумарка тоже, как тебя, за нос водила...
А я открыл Тумарку...

Смерил я Шахворостова глазами сверху вниз. Для чего — не знаю. Бить его я теперь и не думал. Просто хотелось разглядеть хорошенько, что же он за штука такая: Тумарку он «открыл», а мне «закрыл» правду. Да считал, поди еще, что товарищу помогает завести веселенький романчик. Свинья такая! А Шура... Эх, Шура!

Иду и думаю. Вот только что сам же я рассуждал об Иване Андреиче: поздно он решил переменить квартиру и этим загубил Поленьке жизнь. Шуре-то, выходит, жизнь не загубишь. А опоздал я, кажется, еще больше, чем Иван Андреич. Пойти и вылепить все это ей в лицо!

Но вдруг Илья спьяна мне наболтал? И, можно сказать, с полдороги я вернулся обратно.

Шахворостов уже куда-то исчез. Я не пошел его разыскивать. Ну его к чертам! Надо сначала самому разобраться. Но на какие лады я не поворачивал свои размышления, все сходилось в одно: у Шуры, конечно, это не любовь, а забава. Поиграть со мной, пока навигация, а на будущий год — кто его знает, вообще встре-

тимся ли? Может, Барбина на другое судно назначат матросом, а может, она сама уже не будет почтовым агентом, станет только картинки свои на стекле рисовать да продавать их на толкучке. Теперь уже каждая мелочь в ее словах и в поступках совсем по-другому мне представлялась.

Так, с этими мыслями, у железной лебедки я и просидел до конца вахты. Глядел на широкую, прямую ленту Енисея, всю в золотых солнечных бликах. И было совершенно отчетливо видно, что наш теплоход теперь поднимается вверх, словно бы в голубую гору. И если бы сизым туманом не была затянута даль, там, на вершине этой горы, удалось бы, наверно, увидеть и Красноярск, и каменный зубец Такмака, который стоит на пути к Столбам, и даже сами Столбы, где бывало мне всегда так хорошо.

На верхней палубе девчата затянули песню про парня, которому «на деревне расставание поют». Над тихой рекой песня особенно звонко разносится и нежно-нежно замирает в тальниках. Слушать такую песню — большей радости не найдешь. Самому вместе с песней над рекой разлиться хочется.

Девчата пели и долго и много. Разное пели. А когда замолчали, сразу вроде бы вечер настал, и холодком потянуло с реки, хотя солнце кружилось над землей все на одной высоте.

Я зачем-то сунул руку в карман. Вынулся томик Есенина.

— Шаганэ ты моя, Шаганэ!..

Но книжка раскрылась на другой странице:

«Настал наш срок.
Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем...»

Этих стихов Есенина я никогда не слыхал. И ребята из тетрадки в тетрадку тоже их не переписывали. Называются — «Стансы». Непонятно. А прочитал от самого начала и до конца — понял... Хорошие стихи! Вон он какой, Есенин! Я стал их заучивать наизусть. Но сквозь эти умные строчки мне с тоской все время почему-то пробивались и другие: «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..»

Глава восемнадцатая

НАСЧЕТ «МОГИКАН»

В Игарку мы прибыли в самую середину дня. Стояли недолго. Вместо двух часов—минут сорок. Только-только чтобы пассажиров высадить и посадить да с грузами управиться. Поработать пришлось здорово. Не до седьмого, а до одиннадцатого пота. Вася Тетерев ходил радостный и все в ладошку покашливал: «Мы очень хорошо выполняем свое обязательство. Я думаю, мы его выполним. Мы должны, ребята, еще удвоить свои усилия».

Я твердо знал, что Иван Андреич «Родину» не придет встречать, — зачем ему это? — но, пока мы выгружали в Игарке какие-то ящики, я все время бегал, свернув шею вбок, поглядывал на лестницу. Мне казалось все-таки: вот сейчас вверху, на ступеньках, обязательно появится Иван Андреич. Подойдя ко мне, скажет. «А-а! Ну, здравствуй, парень! Книгу мою читаешь?» И, может быть, даже снова сядет на теплоход и поплывет с нами в Красноярск, будет опять сидеть в привычном ему плетеном кресле.

Но Иван Андреич не пришел.

Когда дали уже третий гудок и мы начали убирать трапы, я вдруг услышал на дебаркадере среди провожающих такие слова: «Ты пойдешь прощаться с академиком?» Словно топором меня ударили в лоб. Какой еще другой может оказаться в Игарке академик? А если это Иван Андреич — почему с ним прощаться? Я не видел человека, который произнес эти слова, и крикнул прямо в толпу:

— А что случилось с Иваном Андреичем?

И тоже не знаю, кто мне ответил:

— Умер. От разрыва сердца. Поднялся из шахты в мерзлотке, два шага сделал по земле и упал.

Мне сделалось как-то страшно. Я быстро втолкнул трап в пролет, вскочил сам, и сразу же между дебаркадером и теплоходом образовалась щель, в которой за плескалась черная вода. Вот оно как бывает... Мы продолжаем свой путь, а для Ивана Андреича все уже кончилось. Он не успел выведать у вечной мерзлоты все ее

секреты и не успел рассказать людям, как нужно строить плотины где-нибудь вот здесь, на Крайнем Севере. Я ходил в беспокойстве по палубе, все время думая об Иване Андреиче, и почему-то чувствовал себя перед ним виноватым.

Когда у меня, наконец, вахта окончилась, я забежал к себе и вытащил из сундучка подаренную мне Иваном Андреичем книгу. Может, это и глупым покажется вам, но у меня было такое чувство, что вот я открою сундучок, а книги в нем не будет, как не стало и самого Ивана Андреича. Если же книга и окажется на месте — исчезнет с нее надпись, сделанная косо через весь лист уже немного трясущейся рукой. Все было на месте, и даже чернила стали словно бы ярче, а сама книга на вес тяжелее. Я перечитал надпись, подержал книгу на вытянутой руке. Нет, я не брошу ее в Енисей!

Зашел Петя, Петр Фигурнов, потащил меня:

— Матрос Барбин, пойдем в красный уголок, забьем козелка?

Я засмеялся:

— ...чем «забивать козла» — бить мух полезней.

Фигурнов винтом вывернул шею:

— Это что — стихи? Чьи? Для ясности.

— Одного парикмахера.

Он ничего не понял, покрутил головой и ушел. А у меня было такое чувство, будто я теперь обладатель важной военной тайны. И еще: также в тайне, мне отдано приказание захватить у противника пушку, взорвать мост, занять целый город... Вообще, черт его знает что, но только очень трудное и большое, где придется хорошо поработать и руками и головой.

Потом, когда самый жар с сердца у меня схлынул и я поглядел на себя вроде бы чуточку со стороны, мне вспомнилось, что вот такие тайные приказы я получал и раньше не один раз. Стать Чапаевым, Павкой Корчагиным, Алексеем Мересьевым, Олегом Кошевым! Повторить их подвиги! Но ничего я не повторил. Походил неделю там или месяц взволнованный, да и успокоился, пока новая книжка о герое опять большой мечтой не встряхнет. Мечта о подвигах. И выходит, сила есть у меня только та, которой природа меня наделила, а дру-

гой силы, которая от себя, — силы воли, — и нет. Ничего из задуманного до конца я не довел. Как раз как Манилов у Гоголя в «Мертвых душах». Так ведь тот был помещик, буржуй, человек из проклятого прошлого, а я — рабочий, матрос, и все мои деды и прадеды были тоже рабочие. Может быть, кто-нибудь из них даже у этого самого Манилова крепостным числился, и в Сибирь его привела злая доля. Интересно! А потомок такого прадеда сам живет теперь по-маниловски. Почему? Потому, что сът, одет, обут, вот, похоже, вроде и стремиться больше не к чему. Ум, сердце у тебя, бывает, и взволнуются, за спиной крылья — лети! А что-то другое в тебе — лень, что ли? — советует: «А куда лететь? Зачем? И так уже хорошо!»

Бывает критика. Это когда на людях про все твои недостатки расскажут посторонние, да еще в самых обидных словах. Помогает.

Бывает самокритика. Это тоже когда на людях, только ты сам о своих недостатках рассказываешь. Слова тут, конечно, помягче. Но результат, в общем, тоже полезный, если ты о своих недостатках говоришь не ради того, чтобы только потом тебя похвалили: «Правильно, дескать, держал себя на собрании». Вася Тетерев, например, хорошими считает только такие собрания, где тот, кого крепко «ругают», подряд всю критику признает.

А бывает и еще что-то такое, название не берусь подбирать. Но сидишь ты один и раздумываешь, как Павка Корчагин, когда глядел тот в пистолетное дуло: «Это пустое геройство, братишка...» Ну, а в переводе с Павки Корчагина, скажем, на Костю Барбина получается, примерно, так: «Другие для тебя все сделали, братишка. А ты для других не очень-то хочешь трудиться. Ты хочешь повторить жизнь Овода, жизнь Павки Корчагина, Алексея Мересьева, а времена не те и негде приложить все свои силы. А правда ли, что негде? Или у нас в стране уже полное изобилие? Или никто уже не живет у нас в тесных и сырых каморках? Или начисто уничтожены все болезни? Или никакие темные силы никогда уже и не позарятся на границы твоей родной земли? Или нет за рубежом наших братьев, которым дорог и нужен

твой пример? Это все твое дело, матрос Барбин. Отдай этому все свои силы, посвяти этому всю свою жизнь. Ты не повторишь подвиг Павки Корчагина, ты совершишь подвиг Кости Барбина».

Вот это я не знаю как называется и с чего именно в этом рейсе такое раздумье у меня началось, в этом нужно разобраться, только я понял: прежнего покоя Костя Барбин теперь не найдет. И я ловил себя на том, что эти мысли не все мои. Есть тут и Маша, и Иван Андреич, и еще неведомо кто. Но все это мысли такие, которым я прежде почему-то сопротивлялся, а теперь вдруг признал.

И еще мне подумалось: почему я до сих пор живу как-то не сам по себе, а кто поманит за собой, за тем и иду? За кем я сейчас иду?

Дед мой рассказывал: бегал он в коротких штанишках с лямочками через плечо, и все его называли мальчиком. Потом вдруг кто-то сказал «парень», и дед удивился, что, оказывается, он уже ходит в длинных штанах и под носом у него не та штука, что бывает у мальчишек, а настоящие усыки, хотя еще реденькие. С этого раза и пошло только «парень» да «парень». Дед привык. Вдруг — «дяденька»! Что такое? Оказывается, усы загустели, выперла ладная бородка, и он гуляет по улицам уже не один, а под руку с законной супругой. Ничего, тоже привык. И вот уже слышит — «дедушка». Заглянул в зеркало. Правильно! На лице все положенные дедам приметы, и в зыбке внука Костя пищит.

Я об этом написал потому, что и со мной похожее сейчас начиналось. Вроде назвали меня уже «дяденькой», и я теперь заглядываю в зеркало, проверяю. Да — усы. Но кто мое зеркало? Кто мне по-человечески честно ответит?

После комсомольского собрания, на котором мы решали «удвоить свои усилия», я с Машей близко не сталкивался, только видел в окно, как она стучит ключом в радиорубке. На собрании она сидела в самом уголке, тихая и скучная. Понятно: Леонид остался в Дудинке. Только вот — почему? Человек приехал в отпуск, в гости к родителям. Отец у него на «Родине», а мать в Красноярске. Чего ему одному делать в тундре? Может, захворал и положили его в больницу? Иван Демьяныч

тоже мне показался чуточку грустным. Но не стану же я капитана или Машу о Леониде расспрашивать! Поболеет и выздоровеет. К следующему рейсу будет опять сверкать на солнце своим золотым зубом.

И все же мне ужасно хотелось поговорить с Машей. Так, как раньше часто складывался у нас разговор. Идем куда-нибудь рядом и вроде даже молчим либо нет-нег, двумя словами перекинемся, а разойдемся — на душе что-то останется. Но я понимал, что такого разговора теперь у нас, конечно, больше не выйдет.

Не стану подсчитывать, сколько километров я просновал по палубе и по лестницам. Думаю, проделал путь порядочный. Суть не в этом. Я искал себе дело. Такое, чтобы захватило меня, чтобы мог я думать только о нём, чтобы стал я вроде капитана этому делу — «полный вперед!» — пока рейс не закончится. Но дела такого все же не находил, вернее, просто не мог выбрать, потому что на свете есть очень много всяких больших дел. И я, наверно, походил на того самого осла, который подох от голода, не зная, из какой из двух вязанок ему требить сено. И тогда мне страшно захотелось перечитать еще раз предисловие к книге Ивана Андреича. Ведь каждый раз я в нем вычитывал новое.

Я зашел к себе, стал шарить на ощупь в сундучке. Но вместо книги Ивана Андреича мне попался томик Есенина, и сразу столкнулись в мыслях опять эти разные строчки: «Давай, Сергей, за Маркса тихо сядем» и «Шаганэ ты моя, Шаганэ!» Я повертел книжку в руках.

— Шаганэ — не моя Шаганэ!

Ну и ладно! Пусть будет только: «Давай, Сергей...» Надо вернуть ей томик. Но я не успел это сделать. Шура пришла за ним сама.

— Костя, ты выучил?

— Да, — говорю, — выучил. Можешь взять.

Я старался ничего не подчеркивать в этих словах, и вообще мне не хотелось обижать Шуру. Если ей интересно было поиграть со мной, так я и сам помогал этому. И я решил. Пришла за книжкой? Получи. Твоя. Позовешь чай пить? Спасибо, только что попил. Напомнишь, что нужно еще порепетировать Маяковского? Не надо. Сама сказала, что читаю уже превосходно. Пригласишь попози-

ровать для портрета? Времени такого нет у меня, чтобы десять лет сидеть и позировать. А за два дня, по всему видать, тебе даже карандашом не сделать наброска. Словом, говорить с ней без всякой дипломатии. Так, как стал бы я с Тумарком Маркиным или там с Длинномухином разговаривать.

Но Шура сразу все поняла. Я не стану пересказывать весь наш длинный и запутанный разговор. В нем, пожалуй, ни одной фразы не было полной. Если бы его записать, то получились бы главным образом одни многоточия. Почему — вы сами понимаете. Такой предмет разговора. Я приведу вам только последние слова, с которыми Шура ушла. Там уже не было многоточий, и в самом конце стоял большой восклицательный знак:

— Костя, а я тебя так любила!

Я никак не отозвался на это. А когда остался один, сел к столику и положил голову на руки, в ушах у меня опять зазвенело жалобно-жалобно: «Шаганэ ты моя, Шаганэ!»...

Пришел Вася Тетерев. Объяснил, что ищет Тумарка. Концерт самодеятельности срывается, никто не хочет репетировать. В Дудинке было время у всей команды, чтобы послушать хотя то, что уже подготовлено, так побежали на берег. Потом спать улеглись. Это Тумарк во всем виноват.

— Я очень жалею, Барбин, что сам не возглавил всю подготовку. Я думаю, тогда в Дудинке мы сумели бы дать концерт. Я об этом по радио сообщил даже в нашу многотиражку. Я думаю, что все же можно будет показать хотя несколько номеров программы. Нехорошо, если мы делом не подкрепим нашу радиограмму. У тебя-то, Барбин, все подготовлено?

— Пожалуйста, — говорю, — в любое время, даже один могу концерт устроить!

— Ну, вот видишь, Барбин, как тебе помогла проработка. Ты вообще очень исправился, Барбин. Я очень рад за тебя. Я думаю, скоро ты станешь у нас лучшим матросом.

— Я тоже так думаю, Тетерев.

— Молодец! Но — не зазнавайся. Это очень опасно.

По секрету скажу: Иван Демьяныч тебя в рулевые на-
таскивать думает. Ну, там еще подучишься и...

Он ушел. «В рулевые...» Вот и конец Косте Барбину, рядовому матросу, хотя и рулевой тот же матрос. Дело не в этом. Дело в том, что какая-то сила, которую я искал, сама нашла меня и вперед потащила. Может, в нашей жизни иначе и не бывает?

Пробыл один я вовсе недолго, по-настоящему даже подумать над Васиными словами не сумел. Появился Шахворостов. Как и тогда, злой, но совершенно трезвый. Растигнулся на койке прямо в ботинках, руки под голову заложил:

— Костя, ты прямо скажи мне: свинья ты или ты мне товарищ?

— Смотри в чем, — говорю. — Но свиньей, кажется, я ни перед кем еще не был.

— А я был свиньей перед тобой?

— Ну, предположим, тоже не был.

— Так вот, давай как два товарища поговорим. Мне вот так, — и опять, как в прошлый раз, полоснул себя рукой по горлу, — вот так в Нижне-Имбатском быть нужно. А по всему видать — не остановимся. Голова кругом. Запрос на берег уже сделан. Ответят: «нет» — и пропала моя невеста.

— Илья, — говорю, — если ты прежнее сейчас повторить хочешь, и я тебе свое повторю. Только теперь прибавлю еще: не верю я ни в какую твою девушки!

— Ну ладно, — говорит Шахворостов, — оставим девушку. Это действительно для дураков. Ты только пойми, Костя, сейчас один ты сумеешь помочь мне и никто больше. Чувствуешь? Либо через Шурку, либо через Терскову.

— Это, — говорю, — и совсем уже интересно. Маша при чем же тут?

— Только давай спокойно и объективно.

— Хорошо. И спокойно и объективно.

— И как товарищи.

— Как товарищи.

Сел на койку Шахворостов, пощупал ямки на своей глиняной голове. Начал. Если все грязные, мусорные слова из его речи выкинуть, то вот что он сказал:



— Наезжает время от времени из тайги в Нижне-Имбатское «последний из могикан». Другими словами, неорганизованный охотник, а третьими словами — браконьер. Хотя, сам понимаешь, смешно браконьером называть охотника в здешней тайге, где зверя всякого черт те знает сколько. Сто лет бей — не перебьешь. Да мне и плевать, бьет он или нет, скажем, соxатых, и что потом с этим мясом делает. У меня с ним сейчас совсем другой интерес. Приготовил он мне на полторы тысячи кедровых орехов... Чего — «ох»? Ну, в том числе осетровые балыки и соболей на дамский воротник! Всю эту музыку должен он к прибытию нашему на берег подкинуть, а моя задача: чтобы в глаза не лезло, на теплоход пронести. И вот теперь сам гляди: если «Родина» в Нижне-Имбатском не остановится, «могикан» этот самый до нового рейса меня ждать не будет, сплавит товар другому. Пароходы за нами гуськом идут. А любителей на каждый рубль чистых два заработать — хоть отбавляй. Да не пучь глаза — чистых два целковых! Ему полторы тысячи, а я возьму в Красноярске потом четыре с половиной, не то и все пять. Мачеха у меня это сработает. Я этого «могикана» столько подлавливал, и вот на-ка тебе! Черта ли мне попусту деньги в кармане возить взад и вперед. Понял? Это мои позиции. А вот тебе к ним



идеология, чтобы ты волком на меня не глядел. «Могикан» этот, что следовало по договору, все сдал государству. Это чистые его излишки, которые он волен кому хочешь сбывать. Как срядились мы с ним дешево — дело наше, полюбовное. Это на одном конце. А теперь на другом. Мачеха орехи по стаканчику продасть, с прилавка, и рыночный сбор — три рубля, — какой положен, заплатит. Тут, брат, ничего незаконного. Я этого сам терпеть не могу. Балыки — на квартиры снесет. Ну, а соболей на воротник, сам знаешь, поломайки там или фрезеровщицы какие-нибудь не заказывают. На этот товар покупатели — жены самых ответственных работников.

Кому лучше знать: нам с тобой или им, законно это или незаконно. И на соболиные воротники своих жен прежде всего, надо тоже полагать, мужья любуются. Значит, полный порядок? А что на одном конце полторы тысячи, а на другом четыре с половиной, это, брат, вроде электрического потенциала. Ты только сумей подобрать элементы, чтобы дали такое высокое напряжение...

Как уговорено было, слушал я Шахворостова спокойно, хотя на всю его логику так и рвались с языка у меня вопросы, вроде: «А что же тогда сам этот «могикан» не поедет в Красноярск, честно не возьмет четыре с половиной тысячи вместо полутора?» Или: «От кого ты не заметно хочешь свой товар на теплоход пронести?» И другие, поострее еще, вопросы. Но в этом можно было и повременить, дать ему до конца высказаться. А вот когда он про потенциалы заговорил, я уже не вытерпел.

— Так, — говорю, — в электричестве я и сам чуточку

искажения получались. А все-таки — ей шелковый гарнитур.

— Тоже правильно! Нет, Костя, ты больше чем гений.

— Спасибо, — говорю, — за похвалу. Теперь ты мне ответь: как товарищи мы говорили?

— Как товарищи.

— И спокойно и объективно?

— Целиком.

— Тогда вот какой общий итог, Илья, у нас получается. «Родина» никак в Нижне-Имбатское не зайдет. Три тысячи чистого дохода у тебя пискнули. Свои полторы тысячи — хочешь, так в сберкассе положи. По срочным вкладам, слышал я, три процента платят. Тоже доход. Верный и постоянный. А рассказывать об этом я никому не буду. Как товарищ твой. Мало ли какие фантазии бывают, в голову лезут! Тебе вдруг примерещился этот «могикан», мне примерещился такой разговор. Тем более что в другой раз уже не примерещится.

— Ага! Мораль читаешь?

— Нет, — говорю, — ты не понял, я тебе сказал: «Спокойной ночи!»

И полез на свою верхнюю койку, лег. Долго слушал, как сквозь зубы по самому черному ругается внизу Илья. Потом он ушел. А мне спать не хотелось, я был очень доволен, что получилось так здорово, с неожиданным для Ильи поворотом. Пусть теперь он походит и подумает, как думал эти дни я. Маша на Столбах говорила: «Костя, нам до всего должно быть дело». Ей было жаль какого-то Лепцова, которого вовремя товарищи не остановили. О Шахворостове она тоже тревожилась. Ну вот, пожалуйста, Илью я остановил. Ужасно горд был я этим разговором. И вообще тем, как держу я себя целый день. Заметим, кстати, день-то уже опять не солнечной, а просто с белой ночью — Полярный круг мы пересекли. Только теперь Ленькина мудрость никак не подходила: и ночь была белая, а день не черный.

Пришел Тумарк. Начал раздеваться, аккуратно брючки свои укладывать. Потом налил себе в горсточку одеколона, по волосам провел. Гвоздикой запахло. Тумарк любил такие одеколоны, чтобы любой насморк можно

понимаю. Получается, что я, Шура и Маша Терскова — провода, по которым этот твой сильный ток побежит?

Шахворостов поежился:

— Можно и не проводами быть. Это, Костя, от самого же тебя и зависит. Я, например, тебя всегда первым своим товарищем считал, и ты тоже сам знаешь, сколько раз я тебя выручал. Пожалуйста, давай деньги в пай, и эти орехи мы уже вместе купим. А Ленька может потом с моей мачехой на базаре их продавать.

— Ну и удивительно же все складно выходит, — я говорю. — Только одно еще непонятно: Маша Терскова с какого тут боку?

Илья рукой махнул: «Зря сказал про нее».

Но я настаиваю:

— А все-таки?

— Ну, могла бы она, к примеру, частную мою радиограмму на берег передать этому самому «могикану», чтобы он товар придержал до следующего рейса. Либо другое: чтобы уговорил он начальника пристани потребовать подхода «Родины». Но это все надо в радиограмме излагать тонко, чтобы «могикан» понял, а все остальные не поняли, имея в виду еще, что он сам малограмотный, а я такую радиограмму тоже составить не сумею.

— Так если Машу втягивать, — говорю я, — оно и проще можно. Маша могла бы сама сочинить радиограмму, будто полученную с берега, что пассажиры есть. «Родина» тогда обязана подойти.

У Ильи глаза так и загорелись.

— Костя, — говорит, — да ты просто гений! Вот придумал! Это же — лучше некуда! Поговори с девчонкой. Ты же с ней дружишь всю жизнь. Не жаль разве будет, если три тысячи чистых пискнут? А для Терской —шелковый гарнитур. — Вдруг на минуту он задумался. — Только потом как же, когда пассажиров не окажется, капитан разозлится, а начальник пристани заявит: «Ничего я не знаю»?

— Да, — говорю, — действительно, всякая пакость, она обязательно другой стороной оборачивается. Но я думаю так. Уволить, пожалуй, не уволят Машу, только строгача ей дадут. Объяснит Ивану Демьянычу девушка, что в эфире какие-то там грозовые разряды мешали,

было насквозь пробить. Между прочим, и мне это нравится.

— Тумарк, — говорю ему, — а что это такое: вроде и ты невеселый? Почему-то сегодня вижу я одни тоскливые лица.

Стоит Тумарк маленький, в одних трусиках, челочка на самые глаза спустилась.

— Да ну, Костя, не нравится мне все это, — говорит он. — Затеял Тетерев самодеятельность. Меня режиссером выбрали. А ничего этого не нужно было и начинать, если тяп-ляп, только для отчета. Готовить концерт — так как следует, без халтуры, и всем репетировать. А чем же я виноват, что девчата отказались, скетч отпал, и Шахворостов сейчас заявил — не станет играть в оркестре?

— Не понял тебя я, Тумарк. Какие девчата отказались? Почему скетч отпал? Насчет Ильи можешь не объяснять, знаю.

— Девчата? А обе: и Шура и Маша. Скетч не разыграешь — Леонид остался в Дудинке. Конечно, Маша могла бы и одна с вокалом выступить. Не хочет. У Шуры и вовсе нет никаких причин. Просто уперлась: «Не буду». А я, Костя, я все равно не отступлю, раз мне доверили. Но я хочу, чтобы сделать хорошо или уж вовсе не сделать, потому что это — искусство. А искусство должно быть только высоким. Вася Тетерев мне говорит: «Концерт мы обязательно должны показать завтра. Я думаю, мы его все же покажем». А я отвечаю: «Нет, не покажем. Все рассыпалось». Он тогда говорит: «Хорошо, Тумаркин, я это сам обеспечу. Я уже сообщил по радио в нашу многотиражку. Я думаю, концерт все же получится».

— А почему Леонид остался в Дудинке?

— Да кто его знает! Диссертацию, что ли, о растительности тундры он готовит. Моряк, а ботаник. Он весь свой отпуск на это дело и хочет загнать, натуру исследовать. Знал ведь, что останется, а записался. И Терскову сбил...

Тумарк долго еще жаловался и на Леонида, и на Васю Тетерева, и на девчат. Корил их, что не любят они искусство. Говорил, что искусство существует не для

галочки в отчете и не для заметки в нашей речной многотиражке, а для воспитания высоких, благородных чувств у людей, и нельзя искусством так помыкать, как это делает Вася Тетерев. Грозился, что потребует перевыборов секретаря нашей комсомольской организации, потому что Вася — вообще одно недоразумение. И после этого длинно стал объяснять про систему Станиславского, что-то такое о Немировиче-Данченко, о Качалове и Топоркове рассказывать, и разгорелся так, что хоть на трибуну его, как лектора, выпускай. Но я не слушал Тумарка, я все думал: Леонид остался в Дудинке, а Маша ходит грустная...

Все же сон сморил меня, и, когда пришел мой черед снова заступать на вахту, оказалось, что мы проплыли уже и Туруханск. Стояли там тоже недолго, только чтобы взять пассажиров. Да еще инспектора БУПа: вместе с лодкой завезти его до Подкаменной Тунгуски. БУП, по буквам, Бассейновое управление пути. Это их забота за бакенами, створами, вехами и всякой прочей речной «обстановкой» следить. А лодочка у этого инспектора была превосходная. Легкая, должно быть, очень ходкая, и в красный цвет окрашенная, чтобы с рыбаками, боже упаси, издали кто-нибудь инспектора не спутал. Затащили эту лодочку к нам на корму, и теперь пассажиры все время сверху любовались ею. А вообще-то, конечно, интереснее было бы глядеть вперед, к югу: голубая дорога реки теперь лезла все круче и круче в гору, и сильнее шумела и пенилась вода, опрокидываясь на нос теплохода. О «буповской» же лодочке я сейчас упомянул потому только, что она дальше сыграет свою роль.

В эту вахту мне случалось несколько раз проходить мимо радиорубки. Маша все время работала, стучала ключом или сидела с наушниками и записывала радиограммы с берега. Ветерок трепал синюю репсовую занавеску, солнце светило прямо в окно, и никелированные детали на аппарате так и горели золотым огнем. Я бы сказал, как зуб Леонида, но его, слава богу, и духу теперь там не было. А подойти к окошку я все же не мог, хотя какая-то сила меня к нему тянула, примерно такое чувство: «Вот видишь, Маша, он пощипал свои усики, похорохотал и — будь здорова! На кого ты променяла ста-

рого друга?» Тогда я взял и остановился у перил, спиной к окну так, как было в Дудинке, когда Маша спала, положив голову на руки. Зачем я это сделал — не знаю. Может быть, даже и такая была у меня неясная и тайная мысль: торчать перед глазами Маши немым укором.

Но постоял я недолго. Кто-то толкнул меня в бок. Повернул голову — Петя Фигурнов.

— Эй, Константин! Чего тебе Шахворостов насчет Александры наболтал? А? Эх, ты! Нашел кому поверить! Для ясности.

— Если для ясности, то какое тебе до этого дело?

— А вот такое. Девчонка ревет. От обиды, от горя и не знаю еще от чего. А ты Печорин. И со мной ты так не разговаривай. Не люблю. Уже говорил я. Для ясности.

Откуда он этого Печорина выкопал? Будто подслушал, когда говорил я с Иваном Андреичем! Если бы не это, может, так бы меня и не взорвало. А тут рубанул я:

— Ну, значит, опять мы с тобой, матрос Фигурнов, поссорились?

— Ты этого хочешь? Пожалуйста.

Он зафыркал и убежал. А я вдруг сообразил, что от перил до окошка радиорубки всего два шага и Маша, конечно, слышала весь громкий наш разговор. И мне от этого стало неприятно. Больше даже чем оттого, что я с Фигурновым снова поссорился, и оттого, что Шура, обиженная, плачет.

Нужно было и мне уйти. Но я не успел этого сделать. С лестницы, которая ведет на капитанский мостик, Владимир Петрович мне крикнул:

— Эй, Барбин, спроси-ка там у Терской, нет ли радио с берега?

Тут уж никак не откажешься. Повернулся я к окну, спрашиваю, и не могу понять, слышала или нет Маша мой разговор с Фигурновым — очень уж спокойно перебрала она на столе у себя три-четыре листочки бумаги. Подала один.

— Наверно, из Нижне-Имбатского просят? Вот. На пристани нет пассажиров.

И глаза у Маши, как прежде, теплые, ласковые.

Иду с радиограммой к Владимиру Петровичу, а на затылке Машин взгляд чувствую.

Прочитал Владимир Петрович, прищелкнул пальцами: «Превосходно!» — поманил меня за собой в рубку, написал от себя радиограмму в Красноярск, в пассажирскую службу, и послал опять: «Пусть передаст Терскова».

Об этом я рассказываю только для того, чтобы вы знали: вернулся я к Маше по необходимости. Ну, разговор — «куда, какая радиограмма?» — я пропускаю. А после всех служебных слов Маша и говорит:

— Костя, у тебя после вахты время свободное? — И голос у нее ровный и с серебриской, точь-в-точь такой, как был и раньше.

— Вообще-то, свободное...

Могли бы вы другое ответить? А Маша смахнула засохшие полярные березки, которые еще лежали у нее на столе и портили весь вид радиорубки, сказала:

— Так приходи! Поговорим.

И это у нее вышло совсем просто. А мне было нужно силой сгнуть в узел брови, чтобы спросить:

— О чём?

— Ну вот! «О чём?» Да о чём придется — как всегда.

— У меня-то, Маша, всегда как всегда. А у тебя...

Я думал, она сразу заспорит, начнет оправдываться, но Маша только чуточку улыбнулась, как улыбаются, когда все понимают и улыбкой своей хотят человека не раздразнить, а успокоить:

— Тогда все очень хорошо, Костя.

И у меня не набралось смелости вклиниТЬ: «Конечно, когда нет Леонида, тогда и Константин хорош».

Вы представляете, что вот ведь произошло же что-то такое, отчего Маша для меня стала иной. А какой — не определить. Но не простой.

С такой вот связанностью в душе я и ходил рядом с ней по палубе, когда освободился от вахты. Мы разговаривали, а слова шли очень туго, во всяком случае у меня, потому что мне все время лезли в голову засохшие полярные березки, которые Маша так спокойно смахнула в корзину. Зачем она это сделала? Для меня, или ей самой вовсе не дороги были эти березки? И не знаю как, но у меня все же вывернулось это имя — Леонид.

Маша остановилась. Посмотрела на меня. И мне лег-

ко было смотреть ей в глаза. Это было все равно что смотреть в ангарскую воду: хоть на какой глубине — видишь каждый камешек. Я уж вам рассказывал, что у Маши никогда не гаснет улыбка, только где она прячется — не сразу поймешь: в уголках губ, или в ресницах, или в тонких лучиках морщинок, которые вдруг побегут под глазами. И вот я гляжу, как свет пробегает у Маши в глазах, как все больше они наполняются веселым блеском и становятся такими глубокими, что даже делается немного страшно — увидишь в них сейчас ее живое сердце, — и меня обжигает стыд: почему я все эти дни бежал от Маши, почему вот так не посмотрел ей в глаза?

А Маша словно и не заметила этого. Переспросила:

— Леонид? А знаешь, Костя, мне кажется, из него выйдет крупный ученый. Он весь в своей ботанике и в Заполярье. Он выведал от меня все-все, что только я знала о нашем Севере. А сколько он сам рассказал мне всяких замечательных вещей! Не понимаю, почему ты с ним не подружился? Он всегда так хорошо говорил о тебе, ты ему очень понравился.

Стыд одолел меня еще больше. И, чтобы не раскрыть себя, я напустил суворости в голос. Сказал с издевкой:

— Знаю. Он и перед капитаном за меня заступался. Только кому это нужно? Будто Костя Барбин без защитников и жить не может!

Маша покачала головой:

— Он заступался от чистого сердца, Костя, потому что о всех твоих плохих поступках капитану рассказывала я. И Леонид боялся, что Иван Демьяныч решит очень круто.

— Ага, — сказал я, — так, значит, это ты говорила Ивану Демьянычу?

— Костя, да неужели тебе больше нравится всякая ложь! Ну, хорошо, тогда ударь меня еще раз за это. Ты уже это делал...

Я думал: прячу свой стыд от нее. Разве спрячешь? Но спросить прямо: «Маша, ты это не можешь забыть?» — у меня не хватило голосу.

А Маша тихонько пошла вперед. Оглянулась:

— Костя! Погуляем вокруг теплохода?
Это было все равно как ответ: «Забыла».

И мы долго молча ходили рядом, наверно, сделали кругов двадцать.

Была уже ночь. Белая ночь. Без облаков, и от этого небо на севере казалось особенно прозрачным, а острые вершины елок на берегу — вычерченными тонким пером. В Енисее часто плескалась крупная рыба, круги долго потом держались на светлой глади реки. Маша не спрашивала, какая плещется рыба, и это мне нравилось, потому что я так же не знал названия рыбы, как не знала и Маша.

Потом мы уташили два плетеных кресла с кормы в нос теплохода, где дул встречный прохладный ветерок, и оттого ни души на палубе не было. Одно кресло было то самое, на котором любил сидеть Иван Андреич. Мы их поставили близко друг к другу. Тогда сидеть было теплее. И мы сидели и молчали, как молчали всегда на Столбах, ожидая первого луча солнца. И это было лучше всякого разговора.

Я, может, неверно сказал: молчали. Слова отдельные — и редкие — были. Они не связывались одно с другим, но каждое из них само по себе весило страшно много, хотя если бы их написать на бумаге — это были самые обыкновенные, ходовые слова.

Маша, например, говорила:

— Костя, какие просторы!

И я понимал, что Маша очень любит наш Енисей, нашу Сибирь, и очень ей хочется, чтобы и все ее так любили. Хочет, чтобы, как воздух чистый, речной, были и люди, которые живут среди этих бескрайних просторов, чтобы всякую гниль и грязь выдувало отсюда горным ветром со снежных Саян и смывало бы в океан светлой волной Енисея.

— Костя, ты чувствуешь, как туго бьется вода под винтами?

Я уже говорил, что мы сидели в носу теплохода, но я тоже чувствовал, как тяжело работают винты, чтобы толкать наше судно вперед наперекор быстрине Енисея. И я понимал, что Маше нравится эта борьба — огромной реки и теплохода. Мне тоже нравилась. И очень хоте-

лось сказать: «Эх, и мне бы вот так, на всю свою силу!» Но я этого не говорил, потому что тогда в громких словах пропала бы вся красота мыслей, которые сейчас владели мной. И еще не говорил потому, что это все Маша хорошо и сама понимала, иначе она не прислонилась бы ко мне своим крепким и горячим плечом.

Я тихо говорил:

— Да-а...

И это, по сути дела, значило, что очень хочется мне, как Ивану Андреичу, не зря прожить свою жизнь. Только нужно мне, очень нужно, чтобы кто-то по-настоящему понял меня и помогал бы мне, потому что один я ничего не могу...

Так мы просидели до тех пор, пока солнце не прожгло своими острыми лучами пихтовые заросли на берегу. Ночная прохлада стала сменяться нежным утренним теплом.

Маша встала первой, зябко повела плечами, должно быть за спиной у нее припрятался еще холодок, зевнула. И засмеялась:

— А спать не лягу, сон только на губах у меня. Пойду почитаю.

Я спросил:

— А что ты читаешь?

Она опять засмеялась:

— Очень скучную книгу, Костя. Учебник. Что же, радиостойкой, что ли, мне всю жизнь оставаться? Хочу выучиться на радиотехника, а может, и на инженера. Времени у меня здесь свободного много.

И я сказал:

— А я тоже читаю очень скучную книгу.

У Маши в глазах мелькнуло вроде сомнение:

— А ты на кого?

Как тут ответить? И я сказал не напрямую:

— Это совсем не учебник. Книга называется «Гидроресурсы Сибири и Дальнего Востока».

Маша молча пожала плечами.

Это можно было понять так: «Странно. Какие ты книги читаешь...»

И я сразу прибавил:

— Ее написал академик Рошин.

Но Маша все равно глядела на меня с удивлением.

— Ну, Рощин... Иван Андреич. Он подарил мне эту свою книгу. С надписью. Хочешь, я тебе покажу, с какой? И он мне сказал еще...

Остановиться я уже не мог. Мне нужно было выплыть, выплыть поскорее кипяток из моей души. Очень долго держал я его в себе. А я знал: сейчас Маша поймет. Маша — прежняя. Я ей пересказал все, что было говорено между мной и Иваном Андреичем с первой нашей встречи. Все, все, и даже как сперва он обидел меня — «своеобразно понимает молодой человек решения партии и правительства», — и даже про Поленьку, и даже последнее — «девушку береги, любовью девушки не играй». Только где прямо о Шуре говорилось — этого я не рассказал. Не мог, не хватило духу выговорить. А Маша слова про любовь девичью, наверно, приняла на себя, потому что щеки у нее, как от сильного ветра с морозом, сразу зажглись. Но это ведь и у всякого так, когда про любовь ему говорят.

Закончил я тем, что рассказал про надпись Ивана Андреича: «Не хочется читать эту книгу — брось ее в Енисей».

Маша скорее сама с собой, чем мне, сказала: «И ты стал читать эту книгу? Просто так — только бы прочитать?»

Она могла бы не только потихоньку, еле слышно это сказать, могла бы даже только подумать, но я все равно догадался бы. И поэтому, может, и не совсем на прямые Машины слова я ответил:

— А это как: «Давай, Сергей, за Маркса тихо сядем...»?

— А ты можешь, Костя? — сказала Маша.

— Я хочу, — сказал я.

Глава девятнадцатая

ГОРНЫЙ ВЕТЕР

Весь этот день был удивительно тихим и солнечным. Механики беспрестанно что-то колдовали в машине, я часто слышал такие слова: «Еще шесть оборотов... Еще

восемь...» — и теплоход наш все круче вспарывал Енисей. Вася Тетерев бегал по лесенкам и покашливал в руку: «Мы можем и еще прибавить оборотов в машине. Я думаю, мы сможем идти еще быстрее». Я остановил его и спросил, как, куда и когда я могу записаться, чтобы заочно окончить речной техникум по судоводительскому отделению. Вася посмотрел на меня, как на гладкую стенку, должно быть, вопрос мой не дошел ему до сознания, и я тогда все повторил снова.

— А-а! Подай, Барбин, заявление мне. Разберемся. Это очень хорошо, это еще больше тебя поднимет. Но, я думаю, тебе это пока практически не нужно, тебе лучше совершенствоваться на рулевого. Понимаешь? Высококвалифицированный матрос. Я думаю, тебе лучше записаться на зиму в какой-нибудь кружок. У нас очень плохо с кружковой работой, а это очень хорошо, что ты, Барбин, учиться хочешь. И для тебя это будет легче, чем техникум. Я тебя, кажется, чем-то уже нагружал?

— Перегрузил даже.

— Ну, я посмотрю, Барбин. Если есть перегрузка — снимем. А ты подумай.

Я захочатал, и Вася посмотрел на меня огорченно:

— Опять прежние глупости? Я думаю, Барбин, тебе этого не следует делать. Мне хочется, чтобы ты этого не повторял. Что за мефистофельский смех?

Тогда я состроил самое покорное лицо и сказал:

— Это в последний раз, Тетерев.

И Вася, довольный, побежал вверх по лестнице. А я решил, что насчет техникума мне надо будет лучше поговорить с Машей. Только не сразу, а как-нибудь потом. Когда действительно я сам еще хорошо подумаю. И тут же такая мысль появилась: если я, бывает, смеюсь над Тетеревым, зачем я всегда голосую за него на выборах? Потому что он, по слабохарактерности своей, берет на себя всю комсомольскую работу? Так это не только ему — и нам в укор. Мы сами его испортили. Как раз так, как говорила Маша когда-то о Лепцове: «Мы все друг за друга ответчики. Нам до всего дела должно быть». Тумарк Маркин хочет, чтобы комсомольцы сменили в секретарях Тетерева. А не вернее ли, тоже как говорила Маша, взяться нам его перевоспитывать, если он

сам не научился воспитывать других? Голосовать против Васи на новых выборах я не буду, но поддам ему теперь пару побольше, чем поддавали мне!

В обед меня накормили очень здорово, пожалуй, даже вкуснее и лучше, чем после собрания, на котором когда-то прорабатывали.

Какая-то пассажирка из Норильска угостила меня ананасом. Добрую половину от него отрезала. Консервы из ананасов я и раньше покупал, а вот «живого» попробовал в первый раз. По-честному говоря, наша сибирская облепиха вкуснее и душистее, но тут мне дорого было то, что все же редкость большую удалось отведать, а еще дороже — что женщина эта угостила меня с каким-то особенным удовольствием. Заметно было, что какая-то радость распирает ее, и готова она угостить хоть весь мир, а в первую очередь тех, кто сейчас такой же веселый, как она. Потом уже я узнал, что едет она в Москву за сыном, которого еще малышиком фашисты увезли в Германию, а теперь, наконец, наши сумели разыскать его, вернуть родной матери.

Иван Демьянч дал постоять за рулем никак не менее часа. И хотя здесь плесы открытые, широкие, даже без бакенов, вали от одних створов к другим напрямую, но все-таки очень это приятно — чувствовать, что весь корабль сейчас в твоих руках.

Вообще этот день был сплошь удачливый и веселый. Ведь подумать только, к примеру, даже нож-складничок, который я в Красноярске еще потерял — думал, вытащил там вместе с носовым платком из кармана, — теперь нашелся. Сунул, оказывается, я его зачем-то в дорожный свой сундучок.

С таким превосходным настроением я и улегся спать. По моим расчетам, становиться на новую вахту мне было нужно после Нижне-Имбатского.

Заснул я сразу очень крепко и видел во сне, что про бираюсь какой-то вовсе новой дорогой к самым дальним и диким Столбам. А цветов вокруг — море целое! На горах огнистые саранки и, как солнце, золотые лилейники. По лощинам — маxровые жарки, а у шумливых ключей — по тарелке величиной пунцовые пионы, как у нас называют их — «марьяны коренья». В живой природе

так много за один раз всяких цветов не увидишь, хотя и очень богата Сибирь цветами. Ну, а во сне и не такое бывает. Во всяком случае, это лучше, чем когда пауки или черти снятся!

И вот, все во сне, добрался я, наконец, до отвесных скал. Хожу вокруг и соображаю: взберусь или не взберусь один? Пожалуй, можно. Хотя и риск большой. Эх, если бы рядом кто-нибудь с кушаком — постраховать на крутом лазе! И появляется вдруг у меня чувство такое, что я действительно уже не один, есть кто-то другой неподалеку. А кто он и где он — не вижу. Я тихонько окликаю: «Маша...» И точно — кустарничек зашевелился. Но выходит не Маша, а Шура. Смотрит печально, в глазах слезы блестят. Я хочу назвать ее по имени, но у меня получается другое — «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..» А Шура подходит вовсе близко ко мне и шепчет: «Костя, как я тебя люблю, как люблю...» И целует так, что я весь погибаю. Только сердце одно стучит-стучит. Но я не хочу. Тогда: «Печорин», — говорит Шура. А чуточку погодя: «Теленок. Кисель!» И эти слова ее как злая пощечина. А Шура теперь кричит во весь голос. Кричит громче и громче... И вдруг я даже сквозь сон начинаю понимать, что ведь это «Родина» дает подходный гудок...

Матросы, когда спят, гудков никогда не слышат, как не слышит всякий человек тикания своих часов. Но тут гудок прямо-таки влез мне в уши, влез, наверно, потому, что «Родине» гудеть было незачем. Я это знал и с такой мыслью ложился: в Нижне-Имбатское мы не заходим.

Иллюминатор был открыт, я кубарем слетел с койки и высунул голову. Все еще ночь. Белое небо. Дымком испарения ползут по реке вдоль берега. Да, точно, подходим к пристани. Вот грохнул и якорь. Слышу голос Ивана Демьяныча: «Буповскую лодку спускай». Значит, притираться к берегу, тралы бросать не будем. Спешим. На берегу пусто, даже домá и те вроде какие-то сонные, только на самом камешнике у воды двое. Одного знаю: начальник пристани. А другой — здоровенный бородатый мужик, и возле его ног вещи лежат: два мешка и фанерный чемодан. И тут меня словно в лоб ударило: да это же «последний из могикан»! Шахворостова на койке нет. Да как же это? Почему подошла к пристани

«Родина»? Слышу, и начальник пристани с берега спрашивает: «Почему пристаете? Мимо ведь хотели пройти». А ответ Ивана Демьяныча не пойму. Он в рупор кричит, и звук на берег узким лучом выносит. Померещилось мне только одно слово — «почта».

Одеваться, что называется, по полной форме я не стал. Натянул только брюки, а ботинки даже не зашнуровал и выскочил к кормовому пролету. Гляжу — лодка уже спущена на воду. У руля сидит Длинномухин, на лопастных веслах — Илья Шахворостов, а Шура, наклоняясь, подает ему посылку, обшитую по всем правилам в белое полотно и по углам с красными сургучными печатями. Тумарк у кормового кнекта и держит «конец» — веревку, которой была привязана лодка.

Я сперва метнулся было наверх, на мостик, рассказать Ивану Демьянычу про подлую штучку Ильи. Но тут же подумал, что нет — с Ильей я сам лично должен расправиться. Моя честь тут задета. Как и что именно собираясь я сделать, этого я вам объяснить не могу, так же как и вы, наверно, объяснить не сумеете, когда, допустим, с разбегу прыгаете через канаву — какой ногой отталкиваетесь и какой рукой махнете в этот момент. У меня была одна мысль — не дать Илье привезти сюда от «могикана» свой товар! А что потом — будет видно.

И я кинулся к лодке. Но опоздал. Тумарк уже сбросил с кнекта «конец», а Шахворостов ударил лопастными веслами, и лодочка быстро стала отваливать от теплохода. Шура вся затряслась, когда я рявкнул ей: «Какая посылка?» По ее глазам я понял: липа. Может, камни в нее вложены, и «могикану» этому самому она адресована, только бы повод был остановить «Родину»! Вот оно как... Купил-таки, выходит, Илья мою «Шаганэ»! Шура пятилась:

— Костя, Костенька, миленький... да ты что?

А в глазах у нее противный страх, и нижняя губа отвисла.

Загудел первый гудок, длинно, раскатисто, а в конце короткий, как точка. И вслед за ним, через минуту — второй. Торопится Иван Демьяныч. Лодочка была уже на половине расстояния между теплоходом и берегом, от меня до нее — метров шестьдесят. «Могикан» подтаски-

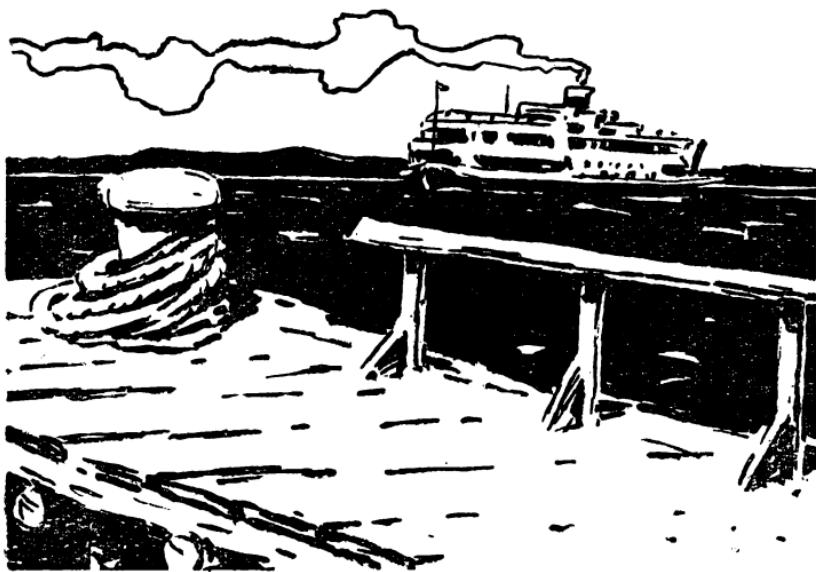


вал свои узлы к тому примерно месту, где должна была причалить лодка. Ее немного сносило течением.

Я скинул брюки, ботинки и бросился в Енисей. Ледяная вода так и обожгла меня. Оборвалось дыхание. Но потом я поплыл легко, отмахивая «сажёнками». Шура закричала, тонко и страшно закричала, будто ее зарезали. Я слышал, как Иван Демьянч сверху в рупор спросил: «Эй, что там?», а Шахворостов из лодки громко ответил: «Да ничего, Барбин купается». И мне показалось, стал еще сильнее работать веслами.

Течением снесло меня куда больше, чем лодочку. Плыть было тяжело, плохо слушались руки и ноги. Их словно бы сводило, стягивало в узел от ледяной воды. Вот он, Север!

Выбрел я на берег не меньше как шагов на семьдесят ниже лодки и сразу же побежал по камням туда. Но это, между прочим, только пишется «побежал». На закоченевших ногах я едва передвигался по острым камням. Было слышно, как переговаривались на теплоходе матросы и пассажиры, которые не поленились встать среди ночи, я знал, что это обо мне говорят, хотя и не мог различить слов. Я видел, Шахворостов вместе с «могика-



ном» кидают в лодку свой груз. Раз, два, три... Три предмета. Мне почему-то врезалось в память это пуще всего. Потом Илья сунул «могикану» маленький сверток в газете -- я понял: деньги -- и лодка стала отчаливать. Ее прямо выдернул в реку лопастными веслами Шахворостов. А мне оставалось дойти только каких-нибудь пятнадцать--двадцать шагов...

Длинномухин завертел головой, стал отгребать своим кормовым веслом обратно, дескать, возьмем Барбина. Но Илья на двух лопастных пересилил его: «Вот дурак, не мешай, дай парню класс показать. Он же у нас чемпион по плаванию».

Не знаю, почему Илья это сделал. Или смекнул, с какой целью я кинулся за ним в воду, и хотел теперь поскорее мешки свои забросить на теплоход, или просто злоба ко мне его охватила, но я понял -- не шутит он. У меня зубы щелкали от холода, и кожа была вся в пузырьках, как у гуся. Я хотел Шахворостову пригрозить: «Лучше -- вернись», но голос перехватило начисто, и я сумел только помахать кулаком. Длинномухин сидел ко мне спиной и этого не видел, а Илья работал веслами и улыбался, будто и впрямь я плаваю тут озоря. На-

чальник пристани, обманутый словами Ильи, тоже глядел на меня с одобрением: «Ну, парень, ты и впрямь как нельма плаваешь».

А лодка отходила все дальше и дальше. Конечно, на берегу я все равно не остался бы, снова прислали бы лодку за мной, и Шахворостов на теплоходе ни сам от меня бы не спрятался, ни «товар» свой не утаил. Но это теперь такая у меня логика, а тогда не логика, а только ярость меня одолевала. И я снова бросился в Енисей, даже не думая, что течением меня может пронести мимо теплохода. Мне хотелось — черт его знает как хотелось! — поскорее настигнуть Илью.

Работал руками и ногами на этот раз я действитель-но, наверно, так, что плыл быстро, как нельма. Но все же лодку я не настиг бы, если бы с теплохода в рупор Иван Демьяныч не приказал: «Эй, Мухин! Взять Барбина в лодку». Длинномухин круто заворотил кормовое весло, заставил лодку стать боком ко мне, и я ухватился за борт. Но Шахворостову, должно быть, показалось, что я хочу ухватиться за один из его узлов — стащить в Енисей, что ли? — и он сразу вскочил и дернул к себе тюк. Но покачнулся, давнул на борт, как раз в мою сторону, и лодка перевернулась.

Я не стану описывать, как потом мы оказались на теплоходе, не думайте — матросы сами не утонут и вообще человеку не дадут утонуть. Мы благополучно оказались на теплоходе, «буповская» лодка тоже, а вот шахворостовские мешки — на дне Енисея. Они сразу, как говорится, канули в воду. Но чемодан сперва всплыл, и я видел, как течением потащило его. Он крутился, покачивался на волнах, поблескивая некрашеной фанерой, а потом тоже постепенно стал погружаться в воду. «Могикан» столкнул с берега рыбачью лодку, сам вспрыгнул в нее с багром и помчался догонять. Я забегу вперед, но скажу сразу, что, когда «Родина» подняла якорь и пошла своим чередом, этот «могикан» в бинокль все еще виден был на реке, далеко, километра, наверно, за три или четыре. Он стоял в лодке и, как Ленька кашу ложкой, размешивал Енисей багром. Похоже было, что чемодан этот и не тонул вовсе и не поднимался на поверхность, а подцепить его багром «могикану» никак не удавалось,

А может быть, он очень и не старался — деньги-то с Шахворостова ведь были получены! А может быть, он хотел вытащить его где-нибудь подальше от теплохода, чтобы этого даже в бинокль никто не видел, и тогда, что есть в чемодане, опять же ему достанется. А в чемодане как раз, наверно, лежали соболя...

Переодевались в сухое мы рядом с Шахворостовым. В каюте, кроме нас, никого не было. Илья свирепо ворочал глазами. Белки у него так и сверкали. На каждое обыкновенное слово он прибавлял десять ругательских.

— Это тебе, Барбин, так не пройдет, — твердил он. И уже не называл меня Костей.

Я молчал. Я знал, что нажил большого врага.

— Имей в виду, Барбин. Лодку перевернул ты, что в ней было — утопил ты. Это факт, это все видели. А что ты вздумал нести на меня — я откажусь, и ты ничем не докажешь. Долгу теперь за тобой три тысячи, это еще по-честному. А затеешь дело против меня — будет за мной...

Он не сказал, что будет за ним, но было ясно: что-нибудь вроде ножа мне в бок. Но по словам его, по тому, как дергались у него губы, я понимал: все же он боится, что я «затею против него дело».

— Так что лучше молчи, Барбин. Пока я товарищ — я товарищ, за мной, как за каменной стенкой. А перестану быть товарищем — яма! Ты понял? Ну? Чего ты молчишь?

— Молчу, как ты велишь.

Сказал это и вышел. Я раньше его успел переодеться.

На мостице, кроме Ивана Демьяна, были все штурманы, Вася Тетерев и Маша. Шел разговор, конечно, о происшествии в Нижне-Имбатском. Входя в рубку, я услышал последние слова Тетерева:

— ...всегда такой озорной. Я думаю, это можно исправить...

Но я закричал прямо с ходу:

— Прошлый раз, по товариществу, я тоже взял на себя. Не стану больше. Шахворостов — подлец...

Илья влетел вслед за мной в рубку, видимо, сразу сmekнул, куда я пошел. Рубаха у него была надета за-

стежкой назад, а он шарил рукой по груди, ища пуговицы.

— Врет Барбин..,

Но Иван Демьяныч поднял руку:

— Стоп! Барбин, рассказывай.

И я выложил начистоту все, как сажали мы в Красноярске с Шахворостовым пассажиров, как он надул меня, назвав их своими родственниками. Потом стал говорить и про эту вот спекуляцию с балыками, соболями и кедровыми орехами, как Шахворостов на полторы тысячи чистоганом три тысячи хотел «заработать...»

Илья не дал мне кончить:

— Точно!.. Это все точно, Иван Демьяныч. Только балыки и соболей к орехам Барбин приплел, никаких соболей не было, а на орехах никто еще по два рубля на каждый рубль не зарабатывал. Половину орехов я себе, семье своей оставил бы. Кому какое дело, кто и чего себе на пристанях покупает!

— А почему «Родина» к пристани подошла, ты не скажешь?

Я прямо из души выкрикнул эти слова. Сразу точно в скалу лбом ударился, такие невыносимо жестокие сделались глаза у Шахворостова. А рот повело так, как всегда, когда Илья готовился выговорить какую-нибудь пакость.

— Нет, Барбин, не скажу, я не знаю. Ты сам, может, скажешь?

И тогда я понял, почему повело рот у Ильи. Если я только хоть словом одним помяну Шуру, он все это сейчас же повернет на нее, облепит нас обоих какой-нибудь грязью. Он это умел, что касается девушек, делать. И тут мне сразу вспомнилось все, как были мы вместе с Шурой, и жалобное «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», и — откуда я знаю? — фальшивое ли все-таки «Костя, Ко-стенька, как я тебя любила...»

Не знаю, вы могли бы или нет назвать в таком случае Шуру? Меня хоть зарежьте, я не смог. И, пожалуйста, теперь подбирайте к Барбину, какие нравятся вам прилагательные и существительные имена, но я замолчал и, как Вий, даже не смог поднять свои веки, чтобы взглянуть на Машу, на Ивана Демьяныча.

Наступила полная тишина. Если не считать, что стучали дизеля у теплохода. И чем дальше тянулась тишина, тем сильнее ломило у меня в ушах. Я знал: это молчание в пользу не мне, а Шахворостову.

Наконец Иван Демьяныч спросил:

— Это все, Барбин?

— Это чистая правда, Иван Демьяныч.

Но Шахворостов сейчас же выскочил:

— Крутится, чтобы за убытки от своего хулиганства мне не платить. А Шурку он...

Тогда тем самым прямым, коротким ударом в скулу, который уже так давно был задуман, я опрокинул Илью. Владимир Петрович подбежал к нему, Маша закрыла лицо руками. Шахворостов лежал и дергал носом. Капитан круто повернул меня:

— Ступай отсюда, Барбин.

Я спустился по лестнице, прямо сбежал в нос теплохода, к якорным лебедкам. Не лучше бы через борт и — в Енисей? Со злости и с тоски я рванул что-то жесткое и упругое, стало больно руке, и я понял, что схватился за конец стального каната, из которого иголками торчали оборванные проволочки. Будто это был вовсе не трос, а Шахворостов или вся та черная подлость, какая эти дни куда-то ташила меня — я выдернул из-под барабана лебедки стопорный ломик и стал им сплеча гвоздить по стальному канату, пока не размочалил у него конец, как малярную кисть.

А тогда, вовсе забыв, что это казенное имущество, я зашвырнул ломик в реку. И сел. Злость и сила у меня кончились. Я стал думать. А думал я так. За драку с последствиями меня теперь обязательно спишут с корабля. Тем более что это уже не первая моя выходка. Чем я могу оправдываться? Назвать Шуру, раскрыть всю эту историю с посылкой? По уголовным всяkim там кодексам и по гражданским моим обязанностям все это полагалось мне сделать. А я не мог. Ну, никак не мог. Это было бы вроде так: сперва поцеловать, а потом ударить по щеке девушки. Вот и считайте тут как хотите... Если у Шуры осталась хоть капелька совести, мужества, она сама должна рассказать обо всем капитану. Наконец должна прийти ко мне и спросить, что же ей делать те-

перь, потому что ведь знает уже она, что, если промолчит, за драку безвинно я отвечу. «Шаганэ ты моя, Шаганэ...» Не надо этого, ну, окажись только честной. Не сделай еще одной, последней подлости. Приди, спроси!

— Костя, тебе очень тяжело?..

Маша! Вот эта пришла даже и к хулигану. Села рядом со мной. Дул восточный ветер. Ее волосы упали мне на щеку.

— Это все самая чистая правда, Маша.

— Костя, я верю. Помнишь, о Шахворостове я тебе говорила?

— Трудно ведь от товарища отказываться!

И я услышал, как тихонько перевела дыхание Маша.

— Да, Костя, очень трудно. Даже — нельзя.

Но это она словно бы уже о себе говорила. Хотя, вернее, обо мне, как я от нее отказался. Весь я стал горький, как полынь. Будь я Ленькой, я заревел бы от горя.

— Маша, меня спишут теперь.

— Костя, но ты не досказал Ивану Демьянычу все. Я это поняла.

— Маша, я не могу. Ну, не могу...

— Почему?

Она заглянула мне в глаза. Не знаю, что она увидела в моих, а я в ее глазах увидел сильную боль.

— Да, я понимаю, Костя.

Мне стало еще тоскливее.

— Меня спишут с корабля, Маша, — повторил я. — А куда я без реки?

Над правым берегом сквозь островерхие лиственницы сверкнуло солнце, и от этого все скалы, обрывы на нем ушли в тень, зато на лугах левобережья заиграла особенно веселая зелень. Ветер стал резче, свежее, втугую заполоскался красно-желтый вымпел на мачте. По Енисею побежала тонкая тревожная рябь. Маша теснее прижалась ко мне плечом, так, как стояла она когда-то рядом со мной на Столбах, у самого обрыва скалы, а впереди нас, под низом, в темной тайге переливалось багрово-желтое пламя костров.

— С реки я все равно не уйду, Маша. Я поступлю тогда хоть на постройку плотины. Или поступлю в какую-нибудь экспедицию.

— Тебя не спишут, Костя.

— Мне нечем оправдываться. Барбин — взяточник, хулиган. Вот это все знают.

— Тебя не спишут, Костя!

И по ее голосу я понял, что Маша не позволит, не допустит, чтобы меня списали. Я не знаю, как это она сделает, и она тоже, наверно, не знает, как это сделать, но Барбин останется речником!

«Родина» сейчас шла по глубинам у самого правого берега. Длинные тени от скал далеко уходили в реку, захватывали наш теплоход. Полосы золотого света, чередуясь с густыми тенями, метались по палубе, перебегали по стеклам нижнего салона и дробились там еще на тысячи огней. Вдруг яркой звездочкой вспыхивал край медного колокола, который висел чуть-чуть сбоку от нас. Енисей, тяжелый и могучий, падая навстречу, бурлил, уходя под днище теплохода.

Ну что же, если спишут... Я все равно не уйду от тебя, Енисей! Да, конечно, я буду строить плотину. Сейчас я с тобой только играю, а тогда мы будем бороться с тобой. О, ты не знаешь еще, какая у Кости Барбина сила! Он ее тебе совсем еще не показывал. Ты пробил, прорезал себе путь среди этих вот крепких скал, а Барбин еще покрепче скалу поставит поперек твоего пути от берега и до берега. И ты остановишься, разольешься, пойдешь не туда, куда тебе хочется, а куда повернет тебя Костя Барбин. Не знаю почему, но мне, как никогда, захотелось сейчас трудного дела. Не сидеть, а действовать, действовать! Руками, сердцем, разумом! Во всю свою человеческую силу...

— Костя, ты ведь сказал правду, тебя никак не могут списать!

«Да, Маша, да! Я сказал правду, я теперь всегда буду говорить только правду. И я пойду расскажу... Спасибо, что ты так тревожишься за меня. Но Костя Барбин и сам ведь очень сильный. Он не пропадет».

Я этих слов не сказал, пожалуй, даже в отчетливую мысль они у меня еще не сложились, но это было так. Это я знал твердо. Наверно, знала это и Маша, потому что она сразу встала, как бы оставив меня одного. Она даже отошла совсем в сторону, но я по-прежнему плечом

своим чувствовал, будто она стоит рядом, прижавшись ко мне, сильная и горячая.

Сверху мне крикнул Фигурнов:

— Костя, Иван Демьяныч тебя вызывает.

И я увидел, как Маша сразу побелела. Я тоже, наверно, побелел. Во всяком случае, зубы у меня щелкнули. Но Фигурнов тут же прибавил:

— Взамен рулевого за штурвалом иди постоять. Для ясности.

Сказал просто, дружески, будто перед этим мы с ним и не ссорились.

«Родина» начала переваливать к левому берегу, вышла из мелькающих теней на залитую солнцем, всю в светлых переливах рябь открытого Енисея. Тугая струя встречного ветра сорвала с головы у Маши косынку и бросила ко мне. Я подхватил ее на лету, зажал в руке. Маша подбежала, чтобы взять косынку. Мне не хотелось ее отдавать.

— Костя...

Голос у Маши оборвался. Я так и не знаю, что она тогда хотела сказать.

В лицо нам дул ветер, чистый и нежный, и, хотя это был привычный мне воздух реки, мне казалось, что это дует тот самый горный ветер, который, как живая вода, освежает и обновляет человека.

У меня было написано еще сто шестьдесят четыре страницы. Я дал свою рукопись прочитать Маше. Она ничего в ней не поправила, только сказала: «Костя, остановись на этом». Вот как раз тут, где сейчас у меня поставлена в книге точка. Рукопись я отнес в редакцию, не посоветовавшись с Машей. Ох, наверно, мне теперь и попадет от нее!

Дудинка — Игарка.
1953 — 1956 гг.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая. Немного о себе	5
Глава вторая. Самая большая	9
Глава третья. Почему я нагрубил	24
Глава четвертая. Что было дальше	35
Глава пятая. Как я перестал смеяться	47
Глава шестая. Казачинский порог	53
Глава седьмая. Наш капитан	62
Глава восьмая. Легче ли стало?	69
Глава девятая. Белая ночь	80
Глава десятая. Проработали	94
Глава одиннадцатая. Машин разговор	102
Глава двенадцатая. Природа не терпит пустоты	116
Глава тринадцатая. Девичья любовь	135
Глава четырнадцатая. А что должен делать я?	149
Глава пятнадцатая. Край земли	160
Глава шестнадцатая. О чем я задумался	171
Глава семнадцатая. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!»	179
Глава восемнадцатая. Насчет «могикан»	191
Глава девятнадцатая. Горный ветер	209

Рисунки А. Кадушкина

К ЧИТАТЕЛЯМ

Отзывы об этой книге просим присыпать по адресу: Москва, Д-47,
ул. Горького, 43. Дом детской книги.

ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Сартаков Сергей Венедиктович

ГОРНЫЙ ВЕТЕР

Ответственный редактор З. С. Карманова.

Художественный редактор Г. С. Вебер.

Технический редактор В. К. Борисова.

Корректора

З. С. Ульянова и Г. П. Якушина.

Сдано в набор 8/1 1960 г. Подписано к печати 19/III 1960 г. Формат 84×108 $\frac{1}{8}$ — 7 печ. л.=11,5 усл. печ. л. (11,3 уч.-изд. л.).
Тираж 100 000 экз. А01698. Цена 4 р. 40 к.
Детгиз. Москва, М. Черкасский пер., 1

Фабрика детской книги Детгиза. Москва,
Сущевский вал, 49. Заказ № 3059.

Цена 4 р. 40 к.

СЕРГЕЙ САРТАКОВ • ГОРНЫЙ ВЕСЕР